

Энциклопедия мифов. А-К

Автор:

[Макс Фрай](#)

Энциклопедия мифов. А-К

Макс Фрай

Мир Echo и приключения Макса

Эта книга была придумана 1 ноября 1995 года, в тот самый день, когда автор «Лабиринтов Echo» создал новый документ в текстовом редакторе и написал: «Никогда не знаешь, где тебе повезет» – фразу, с которой начинается длинная сага о приключениях сэра Макса.

Ну, то есть на самом деле не «придумана», а просто возникла перед внутренним взором автора – вся, целиком. А потом снова исчезла практически без следа, как это часто случается с внезапными озарениями. Но время от времени автору удавалось что-то вспомнить и записать.

Эти записи неоднократно гибли под развалинами уничтоженных черновиков, но с завидным упорством возвращались к жизни, преследуя автора во сне и наяву, а чаще всего – на заболоченных перекрестках между дремотой и бодрствованием. В конце концов книга победила авторскую неспособность ее написать. И теперь она есть.

Эта книга содержит не слишком внятный, зато предельно честный ответ на вопрос «Кто такой Макс Фрай?» И множество новых вопросов, ответы на которые автор и сам хотел бы получить.

Макс Фрай

Энциклопедия мифов. А-К

Книга публикуется в авторской редакции

© Макс Фрай, текст

© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

А

1. Аарон

Странная участь Аарона отразилась в моей судьбе, как в тусклом квадрате зеркала, пригодного разве что для поспешного бритья поутру. Подобно моему предшественнику, я не страдаю косноязычием; как и у него, у меня отродясь не было собственной «великой миссии». Нерадивый, непутевый, но истово преданный своему господину толмач, вот уже несколько лет, прикусив от усердия кончик языка, я перевожу на язык слов экстатическое бормотание невидимого «косноязычного Моисея», ошивающегося где-то поблизости чуть ли не со дня моего рождения. Смысл его почти нечленораздельного лепета порой темен и невнятен даже для меня самого. Старомодный поэт назвал бы моего Моисея «музой», но какая, к черту, муза из этого неистового старца с тяжелым характером?!

Как и всякий человек, посвятивший себя созданию текстов, сам по себе я ничего не значу, и мой посох не превратится в змею на глазах изумленного фараона, если я дерзну совершить сей подвиг самовольно. Но пусть только последует

приказ моего неукротимого Моисея – и не десять, а сто казней египетских нашла я на первого, кто под руку подвернется, не потрудившись пролить слезу сочувствия над затрепанным «личным делом» своей жертвы. Я ненавижу принуждение и прихожу в ярость от любой, даже дружественной попытки вмешаться в мою жизнь, но когда поблизости появляется мой Моисей, я становлюсь ретивым служакой. Я готов покрасить траву у забора и рассчитаться на «первый-второй», если только он пожелает. Я могу не часами – столетиями! – поддерживать вздетые руки моего босса, господина и повелителя: пусть он молится своему загадочному суровому богу, если уж мне не дано. Его косноязычное бормотание достигает не слишком чутких ушей той силы, по воле которой делает свои вдохи и выдохи Вселенная, а моя гладкая речь – только для человеческого слуха, так уж все устроено.

А порой, когда зимняя ночь оказывается слишком уж долгой и я всем телом ощущаю тяжесть зыбучих песков утопившего меня времени, я – могущественный раб, по прихоти своего господина смиренно превративший в змей не одну тысячу посохов! – прошу судьбу об одном: лишь бы не выяснилось в самом конце пути, что никакого Моисея никогда не было...

2. Абдалы

– Я отношусь к предсказателям настороженно...

– Угу, они все врут.

– Ну, некоторые врут, конечно, но не о них речь. Я говорю о настоящих.

– А есть настоящие?

– Почему нет? Если есть подделки, где-то должен быть оригинал.

– Станный подход.

- Подход как подход.

- Но ты же сам говоришь, что относишься к ним настороженно?

- Ну... Скорее с опаской. У меня есть теория...

- Теория? Тиорея, диарея...

- Цыть! Внимай и трепещи. Я думаю, что судьба человека вполне пластична и подлежит переделке. Но только до тех пор, пока она не сформулирована. Пресловутая свобода выбора имеет место лишь на диких пустошах судьбы, пролегающих между возделанными, описанными и напрогнозированными участками... Конечно, не обязательно быть великим пророком, чтобы прибить чужую жизнь гвоздями к очередному событийному забору...

Я стараюсь не для Мика, коего давно причислил к разряду наиболее бессмысленных собеседников, и не для Наташки, которая, кажется, спит. Просто меня несет (несет меня лиса сквозь дикие леса, ага). Чуден Макс при тихой погоде, и редкая птица долетит до середины моего монолога.

- Вот смотри, - продолжаю, не обращая внимания на младенческую муть в глазах заскучавшей жертвы. - Предположим, ты проснулся утром, грохнул чайник на плиту, пошел умываться. Ты сонный, ничего еще не соображаешь. В этот момент предстоящие тебе события и вещи, которые никогда с тобой не случатся, тождественны, они смешаны в одну большую кучу под условным названием «возможное». И тут на кухню выходит твоя маман и начинает нудить: опять проспал, троллейбусы ходят плохо, опоздаешь в институт, у тебя первая пара - сопромат, а Алексей Никитич давно на тебя сердит, ой, смотри, допрыгаешься; а когда тебя домой ждать, небось опять ночью заявишься от своего Макса, будешь винищем вонять на весь подъезд... Ну и так далее, по полной программе - что, ты свою матушку не знаешь?

- Спасибо, поднял ты мне настроение!

- Сам дурак, пожилой мужик уже, двадцать лет на свете прожил, а от мамки с папкой на край света съехать ума не хватает. Ладно, твое дело... Так вот. В тот момент, когда твоя маман нудит поутру на кухне, она наивно полагает, будто ее речь окажет на тебя целительное воспитательное воздействие, ты уразумеешь,

наконец, что такое хорошо и что такое плохо, покаянно упадешь на ее грудную клетку, после чего немедленно исправишься. А на самом деле она просто формирует программу твоего дня. Ты уже знаешь, что будешь двадцать минут ждать этот паршивый троллейбус, опоздаешь в свой сраный институт, поругаешься там со старым мудаком Аникой, а вечером зайдешь ко мне с бутылкой вина, потому что все погано и надоело, а Макс – трепло, но умеет поднимать настроение... И ведь умею же. Всем, кроме себя. Глаза б мои меня не видели!

- Ты чего вдруг?

- А ничего. Грустить изволю.

- Ты сначала объясни, что хотел сказать, а потом грусти.

- А я и так уже все объяснил. Твоя матушка – не бог вещь какая Кассандра. Но есть такая разновидность черной магии, которой каждый человек владеет от рождения: предсказывать судьбу своим ближним. Вернее, не предсказывать, а навязывать свою версию. Она тебя поймала тепленьким, сонным, не соображающим ничего. В общем, в тот момент, когда ты слабее ее. Оформила в слова свое незамысловатое представление о твоём ближайшем будущем, и все, ты попал. Она уже запрограммировала твой день – не со зла, конечно, а по недомыслию, – а ты и сопротивляться не стал. А уж когда какой-нибудь авторитетный «пророк» сформулирует вслух свою версию, тут вообще пушной зверь песец с потомством на дорогу выходит... Ясно тебе?

- Ну да. Но теория так себе. Ну, сказали. Ну, вслух. И что? Слишком уж большое значение ты придаешь словам.

- Да, большое, пожалуй. Но не только я. Это свойственно всей человеческой культуре, а мы с тобой в этом котле, как ни крути, варимся. Уже, считай, сварились.

- Когда я слышу слово «культура»...

- Что, рука, небось, тянется к парабеллуму?

– Да нет, к бутылке.

– Ну, далеко тянуться тебе не придется.

– Угу... А вот и Наталья при слове «бутылка» проснулась.

Ташка, к слову сказать, проснулась несколько раньше. Боковым зрением я заметил, что она смотрит на меня из-под опущенных ресниц так, словно впервые увидела. А увидела она меня в те дни, мягко говоря, регулярно. Чуть ли не ежедневно. Ужас ли, прелесть ли провинциальной жизни состоит в том, что все видят всех ежедневно. Это называется «свой круг». Для того чтобы стать центром этого круга, не так уж много требуется. Всего лишь собственная жилплощадь – пусть даже двенадцатиметровая комнатка в гулкой коммуналке – плюс неумение регулярно вышвыривать со своей территории воинствующих завоевателей и лукавых послов, официальных дружественных визитеров, верных вассалов, бывших и будущих наложниц, вражеских шпионов, агентов влияния и прочих захребетников. Захватчики искренне полагают, что твоя жизнь принадлежит им; и все бы ничего, но доводы их убедительны, объятия цепки, а дружеская тирания – желанна.

Я был центром такого круга, я знаю, о чем говорю. Утром одиннадцатого мая тысяча девятьсот девяносто второго года я (в который раз уже) установил, что меня тошнит от сомнительной привилегии быть содержателем маленького запасного рая для полутора человек и нескольких дюжин человекообразных. К ночи настроение мое так и не переменилось. «Мне бы чего попроще, – думал я, – мне бы на остров какой необитаемый, мне бы в мамоновский “лифт на небо” зайти по рассеянности, мне бы в ночные портье податься или просто уехать туда, где меня никто не знает, где я и сам себя знать перестану, мне бы, мне бы... Ах, мне бы!»

Ну, положим, я всегда был мечтателем, зато мечты у меня высочайшего качества; я уже давно обнаружил, что все они сбываются: рано или поздно, так или иначе, причудливым каким-нибудь образом, через пень-колоду, а то и вовсе через задницу, но сбываются. Непременно. Неотвратимо. Блин.

– Ма-а-акс, – сонно, нараспев позвала меня Наташка, когда ее приятель отправился в очередное «путешествие на запад» (переехав в эту коммунальную квартиру, я обнаружил, что завершающийся уборной коридор обращен строго

на запад и с удовольствием сию тему эксплуатировал).

Я возрадовался, ибо сегодня моя старинная подружка была как-то подозрительно молчалива. «Ночь не спала» – скверная отговорка: кто ж по ночам спит-то? То-то и оно...

– Так ты Оллу знаешь, получается?

– Не знаю. Слышал, кажется, что-то, но... Она гороскопами торгует? Или я путаю?

– Скорее всего, не путаешь. Но Олла ничем не торгует. Гороскопы она, конечно, умеет составлять. И по руке гадает, и на картах. На обычных, и на картах Таро, и еще на каких-то странных картах, я таких нигде больше не видела, и И-цзин знает, и руны, и воск расплавленный в воду льет, а может просто книжку наугад открыть, и окажется, что там все про тебя написано... Ох, Макс, как только она не гадает! А еще говорят, она может внезапно уколоть человека булавкой и по его крику определить, какой смертью он умрет.

Я зябко поежился.

– Не могу сказать, что жду не дождусь такого пророчества...

– Некоторым нравится. К ней один бандит приходил, Олла сказала, что он от цирроза печени умрет. Так тот ушел счастливым: главное, дескать, что не от пули и не от ножа... Денег ей дал кучу! – Наташка развела руки в стороны, наглядно демонстрируя объемы денежной массы, поступившей в распоряжение гадалки. По всему выходило, что легендарная Олла теперь обеспечена всеми материальными благами цивилизации на несколько перерождений вперед – если только благодетельствованный бандит не расплачивался медяками.

– М-да... – завистливо промычал я, не в силах устоять перед гипнотическим обаянием вышеописанной кучи. – Но почему, кстати, ты решила, что мы знакомы?

– Да вот, когда я упрашивала ее мне погадать, Олла сказала мне ровно то же самое, что ты сейчас Мику тер. Дескать, смотри, дорогая, пока у тебя есть много разных дорожек, и ты можешь пойти по любой, а если я выполню твою просьбу, останется только одна дорожка: та, о которой я тебе расскажу. И нет якобы никаких гарантий, что это будет самая лучшая «дорожка». Но я тогда выпила, храбрая была, сказала: знать ничего не хочу, гадай, и все тут!

– Ну и?

– А нельзя рассказывать, Макс. Но... Все, кажется, правда. И меня это не очень радует... Но это ерунда: радует, не радует. Ведь ерунда?

– Тебе виднее.

– Надо вас познакомить, – Наташка уже отвлеклась от горестных размышлений о предсказанной ей судьбе, вошла в свой любимый образ светской львицы, которая знает всех-всех-всех на свете и очень любит этих самых «всех» сводить за чем-то. Тоже ничего себе вклад в великое дело всеобщей энтропии.

– Ну, познакомь, если надо, – равнодушно согласился я. Такое уж у меня было в тот вечер меланхоличное настроение, что Ташкино предложение не вызвало у меня ни энтузиазма, ни, напротив, опасений. Ни единого хиленького предчувствия не родилось в сонном моем сердце; так могла бы реагировать засушенная бабочка на обещание владельца коллекции показать ее радужный трупик очередному энтомологу-любителю. Дескать, раньше надо было спрашивать: хочу ли я заплатить жизнью за право украшать твою коллекцию, а теперь что ж, теперь все можно, поскольку мне уже давным-давно пофигу...

– А чего ты, кстати, его прикормил?

Я даже не понял поначалу, о ком речь. Устремил на нее вопрошающий взор: уж не чеширский ли кот бродячий примерещился в подоконном сумраке? Потому что мне иногда чудится этот кот: знаю ведь, что нет его, но безглазая тень улыбочивой усатой морды, не то дух-хранитель комнаты, не то просто зооморфное фамильное привидение, чуть не ежедневно пугает меня очевидностью своего потаенного присутствия в доме.

– Я Мика имею в виду. По-моему, он скучный. Обычный студент Политеха, таких в кофейне под моим домом табуны, вечно очередь из-за них...

Вот те раз! Сама же привадила его ко мне, а теперь – «зачем прикормил»?!

– Вообще-то я думал, он за тобой ходит.

– «Ходит»? Какой ты, однако, тактичный... Ну, будем считать, что именно «ходит». Но его «походка» мне осто... как там дальше? Это ж твой неологизм был... а, вот ...пиздебенила. Остопиздебенила, ага. В тебе умер великий лингвист, Макс. Временами он попахивает, но это не беда: в каждом кто-нибудь да умер, все мы – ходячие саркофаги... И вообще ты лучше всех, правда-правда. А Мик зануда. Если он будет сюда к тебе каждый вечер шляться, через месяц ты от тоски повесишься на кухне, над плитой Ковальчуков, вот увидишь!

Перспектива безрадостная, что да, то да! Поверхность соседской плиты никогда не казалась мне ландшафтом, достойным взора умирающего героя. Был бы обрусевшим немцем, непременно сказал бы «пфуй!» – но поскольку немец я лишь на четверть, по обрусевшему задолго до моего рождения деду, оный фонетический шедевр остался лежать под завалами прочего невысказанного словесного мусора.

– То есть я теперь должен помочь тебе избавиться от этого несчастного юноши?

– Ну... как бы да. Он никчемность и позорит своих великих предшественников. – Ташка улыбается лукаво, одним уголком рта, прикусив слегка пухлую нижнюю губку – эту улыбку я хорошо помню с тех доисторических времен, когда был еще не старым другом, а новым знакомым, и перед нами обоими маячили ошеломительные эротические перспективы.

Убедившись, что сердце мое начало понемногу подтаивать, как извлеченный из морозилки пакет с субпродуктами, она деловито продолжает:

– Невозможно отделаться от человека, который все время сидит у тебя в гостях. Я-то ведь тоже тут сижу. И он думает, будто мы сидим у тебя вместе. Это ужасно.

– Паучиха, – ласково говорю я. – Маленькая, прожорливая паучиха. Будь по-твоему. Отлучим его от церкви, уговорила.

Главный герой предстоящей нам бытовой драмы тем временем вернулся из уборной. Смотрит на нас подозрительно – тоже мне, ревнивец! Мы все же не пара разнополых павианов, которых на пять минут без присмотра оставить нельзя. Да и что можно успеть за пять-то минут? Разве только вычеркнуть его из дальнейшего повествования, это да, дурное дело нехитрое...

3. Аватара

– Что это за привидение? Как такое может быть?

Я опешил. Растерянно смотрел на женщину, которую мне представили всего несколько секунд назад. Тревожная, почти мучительная для моего зрения оправа красных одежд, затейливые спирали веснушек на сливочной коже, маленький бледный рот, глаза темные – недобрые, к слову сказать, глаза, – но трогательные ямочки на щеках и почти младенческие золотые кудряшки. Станный набор примет, привлекательный и вряд ли фотогеничный (примечание моего «внутреннего фотографа», которого, в отличие от сумки с аппаратурой, не просто оставить дома). Оля, Ольга – вот как ее звали. Или Олла: с ударением на последний слог – для друзей, а на первый – для городских сплетников. Хельга – для клиентов: варяжский орнамент в южном городе особенно привлекателен, ибо сулит прикосновение к акварельной северной прохладе, а потому, вероятно, приравнивается к кондиционеру (пусть даже неисправному).

– Не человек – выдумка какая-то! Не знаю только чья...

Мое изумление достигло крайних пределов, я в неловкой позе навис над диваном, на краешек которого всего четверть секунды назад намеревался скромно, но с достоинством опуститься. Стоп-кадр. Статуя скульптора Пеония из Менде «Купидон, замерший над ночной вазой», – вот как это, вероятно, выглядело.

Из-за моей спины раздавались звучные хлопки, производимые длинными ресницами Ташки. В течение двух долгих, жарких, ароматных майских недель она сулила мне встречу с таинственной Оллой-Хельгой, величайшей гадалкой причерноморских степей, пиковой дамой кофейных подворотен, владычицей тайной службы астрологической помощи, генеральшей приворотно-отворотных войск и прочая и прочая. Ей, Ольге, моя подружка, скорее всего, тоже обещала нечто невероятное в моем лице, интриговала, привирала, кружила голову. Наташка – замечательная, маленькая светская лгунья; слушая ее восхищенные отчеты о друзьях-приятелях, можно заключить, что рассказчица снимает дачу в какой-нибудь стране фей. Она сама, впрочем, в этом и не сомневается.

И вот сценарий моего визита к гадалке Оле (Олле? Хельге?), порожденный добрым сердечком мечтательницы Таши, летел в тартарары. Главные герои не выучили текст; они даже не потрудились его прочитать, а потому вели себя совершенно неадекватно. Ольга озадачивала нас бессмысленными вопросами, вела диалог в агрессивной манере, словно мы с нею – не хозяйка и гости, а боксеры-легковесы, впервые выпущенные на ринг; я же, вместо того, чтобы отрабатывать сомнительную славу главного городского болтуна, молча пялился на хозяйку, неловко оттопырив зад в направлении кожаного дивана афроамериканских статей.

– Ну и что вы оба так на меня уставились? – невозмутимо спросила Ольга. – Мне положено вести себя эксцентрично, это мой хлеб. Или вы предпочитаете крылья летучих мышей под потолком, скелет в шкафу и чучело совы на столе?

– Пожалуй, нет, – дар речи постепенно ко мне возвращался, – это будет слишком похоже на кабинет биологии в средней школе.

– Вот и я так думаю, – неожиданно легко согласилась наша хозяйка. – Знаешь, тебе не следует садиться на диван. Он слишком мягкий, ты там раскиснешь. Лучше на стул... да не на этот, на другой. Спиной к окну, вот так. А на диван мы усадим Наталью.

– Я тоже раскисну, у меня похмелье, – гордо сообщила Ташка, обрушивая в темную нежность дивана все свои сокрушительные сорок семь килограммов.

– Тебе можно киснуть, тебе у меня даже спать можно, тебе вообще все везде можно... пока можно. Пока.

- Почему «пока»?

Ольга не отвечает, она садится напротив меня и смотрит мрачно, исподлобья. Тон у нее, тем не менее, дружеский, доверительный – если только слушать голос, а в глаза не заглядывать.

- Этой маленькой женщине, нашей с тобой подружке, можно все, представляешь? Не только здесь, у меня дома, а вообще все. И эта лафа будет продолжаться, пока она не выйдет замуж. Тогда – финиш. Ничего от ее удачи не останется.

- Ну не выйду я замуж, не выйду, – досадливо бурчит Ташка. Она явно слышит это пророчество не впервые. Возможно, когда-то обещание несчастливому замужеству произвело на нее глубокое впечатление, но не сейчас. Сейчас ей наплевать.

- Есть у тебя такой шанс, – соглашается гадалка. – Но очень-очень маленький, – резко оборачивается ко мне: – Эй, Макс или как тебя там на самом деле зовут...

- Именно так и зовут.

Но Ольга меня словно бы не слышит.

- ...присматривай за этой девочкой, забивай ей голову всякими лживыми глупостями, обещай золотые горы или отправь в ашрам какой от греха подальше – лишь бы не вздумала замуж выскакивать. Ей нельзя.

- Никому нельзя, по-моему, – ее страстный монолог о Ташкиной судьбе понемногу начинает меня забавлять. – Я вообще противник института брака...

- Это как раз полная ерунда – все, что ты говоришь, – вдруг рассердилась Ольга. – Проще простого быть противником какого-то там «института»; куда труднее заботиться об одном-единственном живом человечке – вот хотя бы об этой женщине, которой ни в коем случае нельзя выходить замуж... Впрочем, зря я прошу тебя о ней позаботиться. У тебя не получится, не твое это дело. Ну и не надо!

Куда-то не туда нас занесло – так мне, во всяком случае, показалось. В таких ситуациях проще пожимать плечами, чем отвечать. Этим полезным физическим упражнением я и занялся. Оно укрепляет мышцы плечевого пояса, предотвращает сколиоз и, возможно, даже продлевает жизнь, как всякий мудрый поступок. Ольга (ни «Олла», ни «Хельга» в моем сознании пока не укоренились, для меня она была Оля, Оленька, а то и вовсе Олька), как ни в чем не бывало, принялась хлопотать по хозяйству. Нам был явлен пузатый чайник с алыми маками на фаянсовом брюхе; шоколадная тьма буфета породила разнокалиберные чашки. Мед в деревянной миске изрядно подсох, зато холщовый мешочек для чая дразнил воображение тонкими травяными ароматами. Ташка косилась на меня смущенно и испытующе, словно бы пробовала на вкус мое настроение, обнаруживала там некую подозрительную горчинку и была заранее готова взять на себя ответственность за ее появление. Зря, кстати: я был скорее заинтригован, чем разочарован. И вообще – не волоком же она меня через весь город сюда тащила! Сам притопал как миленький: кошачья погибель – любопытство – и крупного примата до цугундера доведет.

– Это чай, его надо пить, – сурово сообщила хозяйка дома, наделяя меня лазурной чашкой, предназначенной, вероятно, для повседневных нужд титанов и прочих мифологических громил. Ароматная жидкость, однако, золотилась на доньшке. Аккуратная девичья порция в нечеловеческих размеров сосуде. Нелепо, негармонично, но впечатляюще, как и весь первый раунд нашего знакомства.

– Гадать на картах я тебе не стану и по руке не стану, даже видеть твои руки не хочу, – внезапно заявила Ольга, усаживаясь напротив. Колени потянула к подбородку; длинная красная юбка, впрочем, не оставляла мне шансов получить хотя бы смутное представление о форме ее ног. Взяла свою чашку, по запястьям, дребезжа, заскользили тонкие металлические браслеты, трогательные бисерные ниточки и пластмассовая цветная дребедень.

– Жалко. Мне еще никогда толком не гадали. Сколько раз брались, и всегда что-нибудь случалось в последний момент, – я демонстративно отставил в сторону чашку, дескать, и чаю мне твоего не надо, раз такой облом.

– Правильно. И всегда так будет, – безмятежно пообещала Ольга. – Ты на картах и сам гадать можешь распрекрасно. Только не вздумай по книжкам учиться. Сам нарисуй себе свою колоду и гадай всем желающим. И не спрашивай меня,

как. Стоит один раз попробовать, и вопросов у тебя не останется.

Таша виновато ерзала на диване. Она-то сулила мне феерический гадательный сеанс с разоблачением всех кармических нелепостей моей непростой биографии. Странное дело: с тех пор, как мы переступили порог этого эзотерического притона, я не сказал ей ни слова. Ольга каким-то образом умудрилась заслонить от меня весь мир, хоть и была не слишком приветлива. Вообще-то я люблю, когда окружающие ведут себя так, словно они меня обожают. Искренности я не требую; ритуального танца вполне достаточно. Но он совершенно необходим.

– Так что, кина не будет? – уточнил я, с тоской поглядывая на отставленную чашку: сей протестующий жест теперь казался мне преждевременным: пить-то хотелось, и еще как.

– Ну почему же. Будет тебе кино. Просто немножко другое кино. «Кино не для всех», – так это, кажется, называется?

– Ага, что-то в таком роде, – мне вдруг стало смешно. Веская причина принять ее угощение, и я залпом выпил остывший уже чай. Каждый глоток отличался от предыдущего: первый походил на обычную кипяченую воду, второй – на слабый травяной отвар, слегка подслащенный; интенсивность вкусовых ощущений нарастала с каждым глотком, последний был и горек и сладок одновременно – почти невыносимое, но будоражащее сочетание. Потом-то, задним числом, я понял, что в метаморфозах Ольгиного угощения не было ничего необъяснимого: просто на дне чашки покоился мед, темный и вязкий, как речной ил, а я не потрудился размешать напиток. Блаженны рассеянные: мы живем как во сне, со всеми вытекающими последствиями.

Гадалка вдруг приложила палец к губам, кивком указала мне на Ташку. Я глазам своим не поверил: моя подружка, кажется, задремала, забившись в угол дивана. Так быстро засыпают (и так блаженно сопят) только очень маленькие дети – если их хорошенько выгулять на свежем воздухе, а потом от души накормить. У двадцатипятилетних женщин, страдающих, к тому же, непреходящим легким похмельем, это происходит несколько иначе – так мне, во всяком случае, до сих пор казалось.

– Она маленькая и очень хорошая, – почти интимным шепотом поведала мне Ольга. – Это редкость: такие маленькие женщины обычно – грандиозные стервы,

у них особый талант. А она – хорошая.

– Хорошая, – подтвердил я, невольно улыбаясь. – Но без царя в голове.

– Это да, это правда, – меланхолично согласилась моя собеседница, – это правда, без царя... С другой стороны, абсолютная монархия в голове никому не идет на пользу...

– Абсолютная и не требуется. Я предпочитаю, чтобы в голове была конституционная монархия.

– Это как? С парламентом, что ли? С верхней и нижней палатами? С правительством и премьер-министром?

– Что-то в таком роде. Все лучше, чем демократия или диктатура... в отдельно взятой голове. Ужас, да?

– Да, пожалуй. Если только это не диктатура духа.

– В голове?!

– И в голове, и в заднице. И в прочем ливере, если тебя интересуют подробности.

Я посмотрел на гадалку с нескрываемым интересом. Дескать, «вот вы какие, северные олени»! Признаться, я ожидал встретить куда более экзотическое и гораздо менее вменяемое существо. Впрочем, что касается вменяемости, у меня с самого начала имелась пара-тройка «i» с нерасставленными точками.

– А что за странные вещи ты говорила, когда я пришел? Почему «привидение», почему «выдумка»? Это прозвучало... ну, как бы несколько дико.

– Что я говорила тебе на пороге? А, ну да, сейчас мне и самой странно... Но над этим предстоит ломать голову не мне, а тебе.

– Ну ни фигя себе, – разочарованно промычал я.

Противно, когда тебе безответственно морочат голову всяческие астрологи-хироманты и прочие официальные представители чудесного. Они словно бы вынуждают нас становиться скептиками – просто для того, чтобы не чувствовать себя одураченными. Инстинкт сохранения чувства умственного превосходства порой даже сильнее инстинкта самосохранения, и это, в сущности, странно и нелепо.

– Знаешь, иногда бывает так, что я вижу человека впервые в жизни – не всякого, конечно, – и в течение нескольких секунд все о нем знаю. А потом опять не знаю ничего. А потом погадаю ему – и, глядишь, снова знаю... но уже не все, а лишь кое-что. Не всегда самое интересное, что да, то да...

– Выходит, ты уже сама не помнишь, почему так сказала? – Я заинтригован, разочарован... и оттого заинтригован еще больше.

– Почти не по... Хотя...

Нахмурилась, потерла лоб. Я заметил, что ногти у Оллы (кажется, я уже был готов признать за ней право на это имя) коротко острижены, но, несмотря на это, пальцы удивительно хороши. Ровные, довольно широкие у основания, с заостренными кончиками – эффект, которого прочие барышни добиваются при помощи устрашающего (моя спина, исстрадавшаяся в свое время от царапин, требует использовать именно этот эпитет) маникюра.

– Я словно бы увидела, что в мой дом вошло несколько почти одинаковых мужчин. Вошел ты один, конечно, и я это прекрасно понимала. Но увидела – понимаешь, ви-де-ла! – нескольких. И не совсем одинаковых, а почти. Один выглядел мертвым, другой производил впечатление обреченного, зато прочие были в полном порядке, не пугайся. Будь я буддисткой, я сказала бы, что увидела несколько твоих аватар, но... знаешь, это выглядело как-то иначе. Словно бы кто-то в небесной канцелярии решил, что ты должен прожить несколько разных жизней не последовательно, а за один прием, но не позаботился наделить всех жизненной силой. Поэтому вместо одного настоящего живого человека получилась ватага привидений... И погоди-ка, было еще что-то... нет, не могу... не понимаю, не помню – что именно. Сейчас разберемся. Лови!

4. Агасфер

Оглушенный последним выпуском новостей из зазеркалья, я не успел сообразить, что от меня требуется, но поймать летящий в меня предмет все же как-то ухитрился. Это был клубок ниток – такие обычно дают котяткам для игры: слишком маленький, чтобы из него можно было связать нечто полезное; нитка толстая, ярко-вишневая.

– А реакция у тебя хорошая. Близнецы, небось, вторая декада? Мог бы в боксеры пойти.

– А вот и нет. Рыба я, рыба, мокрая и холодная, – ее ошибка меня окончательно разочаровала: гадалка не должна бы ошибаться. А теперь – что ж, не вызовут ее прорицания у меня священного трепета, хоть голову о карму расшиби. Но Олла отмахнулась от досадной своей ошибки, как от невидимой мошки.

– Это ты положение солнца в момент рождения имеешь в виду. А зачали тебя, когда солнце находилось именно в знаке Близнецов, причем где-то во второй декаде, гарантирую. Можешь допросить своих родителей, если сомневаешься... Дата зачатия, прими к сведению, гораздо важнее.

– Вот как? – вежливо удивился я. – Впервые слышу такую теорию...

– Все, что ты здесь слышишь, ты слышишь впервые, – отрезала она. – А теперь давай-ка, запутай этот клубок.

– Как я должен его запутать?

– Да как хочешь, так и запутывай. Можешь постараться, чтобы я распутать не смогла, а можешь не стараться. Можешь всю нитку размотать и узлами завязать, а можешь только кончик. Как тебе больше нравится.

– Это такой способ гадать? – изумился я.

– Это такой способ познакомиться. Гадать я тебе не стану, сказала ведь уже. Не предскажу я тебе ни казенного дома, ни даму мечей на сердце, ни бубнового интереса на северо-западном склоне горы Фудзи. Давай, давай, запутывай. Хулы не будет, – и она вдруг заговорщически подмигнула мне и звонко рассмеялась.

Я растаял. Кажется, меня записали в «свои»; сочли достойным собеседником, в обществе которого можно пыль в глаза не пускать и даже над «делом жизни» посмеяться снисходительно: дескать, мы-то с тобой понимаем, что все фигня, кроме пчел, да и пчелы – тоже фигня, но мы никому об этом не скажем, потому что люди делятся на тех, кто ничего не понимает и тех, кто не понимает ничего! И еще есть мы с тобой, единственные исключения из этого скорбного правила – примерно так как-то.

В ту пору я как раз стремился если не стать, то хотя бы прослыть исключением из всех мыслимых правил и потому весьма высоко ценил любой намек на приглашение выступить в этой роли. Следовательно, купить меня с потрохами можно было недорого. Ольге и стараться-то особо не пришлось: достаточно было одной заговорщической ужимки, остальное я дофантазировал самостоятельно.

5. Адити

Нитку я послушно запутал. Надо, значит надо.

Поначалу чего я только с нею не творил. Но занятие это быстро мне наскучило; врожденное упрямство, однако, требовало, чтобы я не бросал дело на середине. Я и не бросил, но действовать решил не по вдохновению, а с максимальной эффективностью. Распустил остаток клубка, поспешно завязал с десяток узлов по всей длине нитки, собирая ее таким образом, что каждый узел становился основанием для нескольких петель разной длины: я быстро сообразил, что этот способ помогает мне всякий раз сокращать длину нитки на несколько метров, завязывая всего один узелок. Работа спорилась, через пару минут все было готово. Самый заковыристый узел я приберег напоследок. Затянул его потуже, а кончик нитки старательно растрепал на отдельные волоконца и распустил.

Симпатичная такая кисточка получилась, ею бы в носу прикорнувшего после очередной битвы с портвейном ближнего пощекотать – самое милое дело!

– Ой, как все непросто! – ухмыльнулась гадалка. И добавила неожиданно драматическим тоном: – Вот сейчас я вижу тебя как на ладони. Большинство человеческих судеб похоже на партию в шахматы... Но ты ведь не играешь в шахматы? Не должен бы.

– Не играю. Несколько раз пробовал научиться, но то ли с учителями не везло, то ли сам дурак...

– Одно другому не мешает. Ты не способен к этой игре уже потому, что твоя судьба на нее совсем не похожа. Невозможно рассчитывать на несколько ходов вперед, нельзя заблаговременно принять меры и насладиться заслуженным успехом, зато и за ошибки платить не придется... по крайней мере, не всегда. Причинно-следственные связи в твоей судьбе – не то вовсе не существуют, не то возникают лишь для того, чтобы сразу же оборваться. Да, странно... А знаешь, какая игра – твоя? Нарды[1 - Нарды – игра для двоих игроков на специальной доске с использованием шашек и игральных костей. Правила игры в Backgammon («короткие нарды») гласят, что у каждого игрока имеется по 15 шашек. Задача белых – провести свои шашки в дом белых. Задача черных – провести свои шашки в дом черных. Начинают белые, бросая две кости. Количество выпавших очков показывает, на сколько вперед надо продвинуть шашки. Например, на кубиках 3, 4 – можно продвинуть две шашки (одну на 3, другую на 4) или одну (на 7). Если на обоих кубиках выпадет одинаковое число очков, то показания удваиваются (например, выпало 4, 4 – игрок может распоряжаться любым сочетанием 4, 4, 4, 4). В процессе игры на одном поле можно держать сколько угодно своих шашек. Поле, где содержится две и более шашек противника – заперто, на такие поля вход чужим шашкам запрещен. На поле, занятое одной шашкой противника, входить можно, причем шашка противника считается битой и убирается с доски за борт. Битая шашка должна начать путь сначала. Игрок, имеющий за бортом шашки, не может сделать никакого другого хода, пока не выставит их на доску. Шашки с борта ставятся согласно показанию костей. Бить при этом шашку противника можно, но не обязательно. На поле, занятое двумя и более шашками противника, битые шашки не ставятся, а ход пропускается – цугцванг. Как только игроку удастся привести шашки в свой дом, он начинает ставить их за борт («на двор») – снимать с доски, кидая кости. В процессе выставления шашек «на двор» игрок может использовать показания кубиков – одну шашку выставить за борт, а другой просто ходить. Каждый бросок

выполняется полностью (например, если выпало 5, нельзя ходить на 4). Если игрок не может выполнить ход, то он либо пропускает ход, либо выполняет ход по одному кубику. Игрок, первым выставивший шашки за борт, получает одно очко. Если к этому времени соперник не выставил «на двор» ни одной шашки, победитель получает 2 очка; если в доме победителя остались шашки противника – 3 очка; если же у соперника все еще есть шашки за бортом – 4 очка. А игроки в длинные нарды в начале игры выстраивают свои шашки на одном поле; бить шашки противника в этой игре нельзя, на поле, занятое одной чужой шашкой, попросту не вступают. В остальном все так же: цель – вернуться домой раньше, чем это сделает ваш оппонент.]. Причем ты любишь «длинные нарды» и терпеть не можешь Backgammon... хотя судьба нередко принуждает тебя именно к этой игре. В таких случаях ты злишься и нервничаешь: вышибать шашки противника – это не для тебя. Ты не хочешь ни убивать, ни быть убитым; потому ты отдыхаешь душой, играя в «длинные нарды» – а ведь на прочих эта игра навевает скуку! Ты же блаженствуешь: инстинкт велит тебе просто идти домой, хотя вряд ли ты представляешь себе, что это за место такое – твой «дом». И не представишь, пока не придешь... Но вот еще что важно: прежде чем сделать очередной шаг, ты медлишь, отводишь глаза от собственных отражений, нетерпеливо мнувшись по ту сторону зеркал, и кидаешь кубики – испытываешь удачу. А обнаружив, что не так уж она велика, поднимаешь глаза к небу и просишь... впрочем, нет, не просишь, требуешь помощи. К слову сказать, не так уж ты корыстен, просто помощь свыше для тебя – единственный шанс уверовать, что там, «наверху», происходит нечто более любопытное, чем движение атмосферных потоков. Ведь так?

Олла говорила правду. Я действительно был заядлым игроком в нарды, не только страстным, но и весьма умелым; да и описанный ею способ бытия подходил мне более прочих. Она меня раскусила. Это доставило мне удовольствие особого рода: наверное, так наслаждается книга, попавшая в руки внимательного читателя. Оказывается, приятно, когда тебя читают; не знаю уж почему, но это так. Однако вместо того, чтобы растаять, распахнуть сердце и смиренно внимать откровениям мудрой пророчицы, я по привычке тут же отыскал подходящее возражение.

– Значит, я просто «иду домой»? Странное дело, до сих пор я только тем и занимался, что уходил из всяческих домов. Сначала от родителей, потом... – на этом месте я осекся, поскольку понял, что отчет о прочих домах, из которых я уходил после того, как окончательно закрыл за собой дверь родительского дома и аккуратно сжег немногочисленные мосты, будет здесь не слишком уместен.

И поспешно скомкал автобиографический монолог: – В общем, откуда я только не уходил! Колобок какой-то просто...

– Ну уж нет, куда тебе до Колобка! Уходил он, видите ли... Твоя жизнь, можно сказать, и не началась еще: ничего-то ты о себе не знаешь пока. Крутишься, как грызун в пустом барабане, такой же жизнерадостный и бессмысленный... Мог бы до седых волос крутиться. Но ты, кажется, действительно везучий. Вот как выглядела твоя жизнь до сегодняшнего дня, смотри, – она сунула мне под нос нитку, которую я так старательно запутывал поначалу. – В твоих узлах нет никакой логики, никакой системы, но и силы в них нет, туго ты их не затягивал. Развязать легче легкого, ногти не сломаешь, но кто станет распутывать этот кошмар? Правильно, никто. Проще отрезать, – в руках гадалки появился короткий, серпом изогнутый нож из тех, что охотники используют для свежевания добычи. Коллекционная вещь.

Я уж хотел было отшутиться, отмахнуться от ее внезапной серьезности. Поднял глаза и осекся. Что-то в облике Оллы вынудило меня промолчать. Грозный вид имела сейчас эта рыженькая барышня, хоть алтарь ей сооружай прямо на столе, среди чайных чашек, дабы умиловить поскорее невесть откуда взявшееся хтоническое божество, до сих пор мирно дремавшее в мягкой шкатулке женского тела, а теперь беспокойно заворочавшееся – того гляди, проснется!

Гадалка тем временем перерезала нитку и сунула ее мне.

– Когда вернешься домой и останешься один, распутай непременно. Это очень важно. Ритуал. Символическое приведение в порядок собственного прошлого. Изменить прошлое нельзя, а привести в порядок, знаешь ли, можно. Хорошая новость, не так ли?

6. Аедие

– Новость как новость, – растерянно возразил я, пряча нитку в нагрудный карман куртки.

Как только всученный обрывок скрылся в джинсовых складках моей поверхности, ветер переменялся. Мне вдруг стало скучно, в потаенных болотных глубинах моего существа накопились усталость и раздражение; даже давление, кажется, начало скакать, подражая молодому кенгуру: по крайней мере, в ушах звенело, лоб словно бы перетянули тугим шнурком, виски налились свинцом.

Я не знал, как следует себя вести. Хозяйка дома бесстыдно вешала мне на уши какую-то эзотерическую лапшу слабого посола; затащившая меня сюда Наташка дрыхла и, кажется, ее Ка не намеревалось прерывать круиз по тихому океану сновидений; встать и уйти – невежливо, да и любопытство не велит, но и принимать активное участие в одурачивании себя любимого мне не хотелось. Неловкая ситуация!

Мое новое настроение гадалке не понравилось. Нахмурилась, встала, подошла к окну, поманила меня пальцем:

– Посмотри-ка вниз.

Я послушно выглянул наружу и обмер: тротуар был так далеко, словно мы созерцали его из окна какого-нибудь небоскреба – не банальной девятиэтажки, порожденной скудным воображением дипломированного провинциального архитектора, не столичной сталинской высотки даже, а именно небоскреба, каковых в нашем городе, ясен пень, не водилось и не заведется, пожалуй, в ближайшее столетие.

– Ты ведь живешь на четвертом этаже, – говорю почти умоляюще, словно бы можно еще прийти к соглашению и отменить несуразное это чудо. – Мы поднимались, я помню... я еще ступеньки считал.

– Очень мило с твоей стороны. И сколько же их было?

– Шестьдесят шесть. Шесть ступенек внизу и потом три пролета...

– Смотри в окно, Макс. Внимательно смотри. Как по-твоему, достаточно ли будет шестидесяти шести ступенек, чтобы спуститься отсюда на землю?

– И шестисот не хватит, – промямлил я.

Меня почему-то тошнило, да и голова позорно кружилась; я ухватился за батарею центрального отопления, с пыльной твердью ее поверхности я бы не расстался сейчас ни за какие сокровища Али-Бабы: все же настоящая, надежная вещь, не фата-моргана.

– Это что, гипноз какой-нибудь? – знакомое с детства слово «гипноз» оказывало на меня столь же успокаивающее воздействие, как холодный металл радиатора.

– Хреноз какой-нибудь! – сердито передразнила меня Олла. – И откуда ты только взялся на мою голову? За тобой чудеса волокутся, как хвост за собакой, а метешь ты при этом пакость премерзкую, как колхозница на приеме у экстрасенса. «Гипноз»! Тьфу, гадость какая!.. Ладно, посиди на стуле, отдышись. Ты зеленый, как лягух.

Нелепое детское словечко «лягух» почему-то сразу привело меня в чувство, я даже усмехнулся – нервно, но вполне искренне.

– Мама, фто это было? – гнусавлю, цитируя общеизвестный анекдот про малолетнего идиота. – Ты на каком этаже все-таки живешь?

– На четвертом, – холодно ответствовала моя хозяйка. – Ты же сам ступеньки считал.

– Но... у тебя из окна... всегда такой вид?

– Да нет, не всегда. Второй раз в жизни это со мною случилось, откровенно говоря. Потому и позвала тебя полюбоваться. Чтобы ты перестал зевать и коситься на дверь, а ловил каждое мое слово. Другого такого дня не будет.

Некоторое время мы молчали. Не знаю, о чем размышляла Олла, а у меня в голове царил абсолютный вакуум, хоть ученым ее сдавай в аренду для проведения лабораторных исследований. Противоестественный гул в ушах – так должны бы гудеть неисправные электроприборы, а не башка человечья – служил приятным музыкальным фоном для вдохов и выдохов, каковые я производил без особого энтузиазма, скорее просто из чувства долга перед собственным телом.

– А с клубком моим ты знатно обошелся, – гадалка наконец нарушила молчание. – Нитку, что я отрезала, переложил-ка из нагрудного кармана в задний, от греха подальше. Задница все стерпит. Останешься один, распутай ее, потом сожги. Обязательно. Если решишь, что это глупости, вспомни ступеньки, которые считал, и вид из моего окна вспомни. Ясно?

Я смущенно кивнул. Возражать не хотелось; возиться с дурацкой ниткой, впрочем, тоже не хотелось. Вид из окна Оллы – это, конечно, было чудо, что и говорить... Но я не знал тогда, что присутствие чудесного в жизни человека накладывает на него определенные обязательства. В ту пору я полагал, что чудеса происходят со мною просто так, на халяву – потому, что я «лучше всех»...

7. Аждарха

– Как ты думаешь, почему так много легенд о том, что мертвецы возвращаются к живым и мучают их? – настойчиво теребила меня гадалка.

Я пожал плечами. Заводить культурологическую дискуссию не хотелось. В тот момент я все еще слова не мог выцедить, честно говоря. Хвала Аллаху, от меня и не требовался ответ, Олла сама прекрасно справлялась со своим монологом.

– На самом деле мертвецы – вполне миролюбивый народ. Им не до нас, мягко говоря. А оживший мертвец из мифа – это просто персонификация прошлого. Когда оно оживает и вторгается в настоящее, время портится. Оно становится ядовитым и сокращает жизнь. Ожившее прошлое может оказаться смертельно опасным... Ты хоть понимаешь меня?

В другое время я бы энергично закивал: не в моих правилах признаваться, что я не слишком понятлив. Но сейчас у меня не было сил даже на такую маленькую ложь, поэтому я печально помотал головой.

– Вижу, что не понимаешь. Хорошо хоть не врешь...

А глаза у нее вовсе не темные, оказывается. Зеленоватые, крапчатые, как прозрачные лужицы с усеянным мелкой галькой дном. Олла смотрит на меня с сочувствием, и я понимаю, что она играет сейчас на моей стороне. Она – друг, как ни странно. Она – «своя». Наконец-то до меня дошло.

– Я хочу еще чаю, – объявляю, откидываясь на спинку стула. Вытягиваю ноги (до сих пор они были скручены жгутом, моя любимая поза: не просто закинуть одну конечность на другую, но еще и ступней обвить икру). Кисти рук извлекаю из-под мышек и кладу на стол. Все это тождественно вывешиванию белого флага: я больше не намерен оборонять никому не нужную крепость, и Олла это понимает. И принимает как должное. Дескать, иначе и быть не могло.

– Если не сожжешь эту нитку, однажды она снова окажется в твоём нагрудном кармане, – говорит Олла, манипулируя чайной утварью, так что слова ее сопровождаются шелестом браслетов и звоном дымящихся струй. – Такая тяжесть не для твоего сердца, того гляди, рехнешься от тоски, а то и в окно сиганешь спьяну, у тебя ведь в роду были самоубийцы. Ты о них, возможно, не знаешь, но тело такие вещи не забывает... А если сожжешь ее, не распутав, прошлое твое умрет, но, как говорится, без покаяния. Будет щелкать зубами под твоими окнами, а то и в постель заберется – ищи потом осиновый кол, чтобы его успокоить!

Лазурная чашка снова перекочевала в мое распоряжение, как бы в награду за благие намерения: я как раз дал себе слово, что распутаю и сожгу эту чертову нитку, пусть хоть все городское население будет потом насмешничать по кофейням над простодушным Максом, которому вконец заморочила голову бойкая шарлатанка. Впрочем, я уже не думаю, будто меня просто разыгрывают: все-таки вид из окна оказался веским аргументом. Настолько веским, что думать о нем не хочется. К черту. Забыть на фиг. Лучше уж распутывать красную нитку, запершись в убогих своих чертогах от посторонней помощи, а потом развести маленький костерок в пепельнице. Макс – хороший мальчик, делает все, что ему велят, а чего не велят – не делает, и за это... за это его, пожалуй, оставят в живых. Может. Быть.

– Не грусти, – улыбается Олла. – У тебя впереди такая интересная жизнь, ты еще сам себе позавидуешь.

Я адресую ей – не то чтобы недоверчивый, но вопрошающий взгляд. Откуда бы, дескать, столь заманчивому прогнозу взяться?

– Я же сказала, когда ты вошел: «Выдумка, не человек». Нет, не сказала. У меня вырвалось. Само сказалось. Значит – правда. Ты и есть выдумка. А выдумывают, как правило, развлечения ради, разве нет?

– Иногда выдумывают ради пользы полезной...

– Бывает. Но только не людей. Какая польза может быть от человека?

Мне, кажется, нечем крыть.

– Ты ведь закурить уже полчаса как хочешь, – вздыхает Олла. – Не стесняйся. Это мне даже на руку: дым ничем не хуже кофейной гущи... Вонь, конечно, от сигарет страшная, ну да окно ведь открыто.

При слове «окно» я непроизвольно втягиваю голову в плечи (я бы ее и в песок спрятал, да нет тут никакого песка). И поспешно лезу в карман за сигаретами, удивляясь, что забыл о такой замечательной возможности привести себя в порядок. Табачный дым впитает мое смятение, свежий майский ветер рассеет дым, а я останусь сидеть на этом стуле, и силуэт мой не истает на ветру, хоть и называет меня «выдумкой» рыжая пророчица Ольга-Хельга. У меня оставалась смутная надежда, что это – просто метафора.

8. Азазель

– Гадать я тебе, как и говорила, не буду, – флегматично сообщает Олла, наблюдая, как дым моей сигареты смешивается с сизым чайным паром, рождая туманные вихри, причудливые, но недолговечные. – А вот правила игры подскажу.

– Правила... игры?

– Конечно. Не забывай: твоя жизнь похожа на игру в нарды. Но поскольку обращаться с мясистыми фигурками из человечины обычно немного сложнее, чем распорядиться лакированными шашечками, правила игры оказываются запутанными... и они почти никогда не известны самим игрокам. Тот, кому доподлинно известно хотя бы одно правило его игры – счастливчик. Но обычно все устраивается таким образом, что люди знают лишь правила чужих игр, отчего случается множество нелепых недоразумений.

Я понимающе улыбаюсь. Олла очень хорошо формулирует. Лучше даже, чем я сам в наисветлейшие свои минуты. Не могу устоять перед искушением сказать это вслух.

– Не отвлекайся, – хмурится она. – Просто я с каждым говорю его языком. Послушал бы ты меня, когда мальчики с вещевого рынка заходят узнать, сколько еще лет их туши сохранят чудесную способность жрать, срать и крыть баб... Так уж получается: пока я вижу человека, я говорю на его языке, а когда остаюсь одна, молчу: своего языка у меня нет вовсе. Я – зеркало. Просто зеркало, так бывает. Больше не перебивай меня, хорошо?

Киваю смущенно.

– Ты собралась подсказать мне правила игры.

– Совершенно верно.

Снова пауза. Разбавляем беседу молчанием, как кофе молоком, чтобы не горчила. Ташка свернулась калачиком на диване, рот приоткрыт, ладошка под щекой. Дрыхнет. Я начинаю думать, что природа ее сна не менее загадочна, чем давешний вид из окна. Она спит не потому, что устала, а отправлена в сон за ненужностью, дабы не мешать происходящему. Будить Наташку мне совсем не хочется: действительно не до ее щебета сейчас. Но все равно жутковато. Я отворачиваюсь: пусть взгляд скользит по столешнице, по потолку, по Оллиным браслетам; будем считать, что я еще не готов созерцать спящих красавиц. Дух мой не столь тверд и невозмутим, как у сказочных принцев. По крайней мере, пока.

– Большинство мужчин созданы для войны; большинство женщин – для любви.

Скажите пожалуйста, какая неожиданность! Олла решилась наконец прервать молчание – и ради чего, спрашивается? Чтобы обрушить на меня приторную банальность?!

– В обыденной жизни это обычно сводится к тому, что первые явно или тайно соревнуются с каждым встречным, а вторые погрязают в скучном семейном блядстве, – холодно заключает она. – Одно из твоих правил гласит: не имей дела ни с теми, ни с другими. По крайней мере, не играй с ними в их игры. Не соперничай с мужчинами, рожденными для войны; не связывайся с женщинами, созданными для любви. Не принимай их всерьез; не давай им принимать всерьез тебя. Лукавь, ускользай, выкручивайся, ты это умеешь. Можешь ездить вместе с ними в городском транспорте, но этим, пожалуйста, и ограничься.

9. Аид

– Они... опасны? – спрашиваю я, почему-то свистящим шепотом.

– Вот именно. Смертельно опасны. Они могут сбить тебя с толку. Твоя игровая доска пока похожа на болото. Ты можешь передвигаться только по кочкам: и островки безопасности, и указатели направления. Шаг в сторону – заплутаешь, утонешь. Не давай сбить себя с толку.

Я вопросительно поднимаю брови. Да что брови, я весь – вопрос, даже позвоночник мой изогнулся вопросительным знаком, и кончик носа зудит от напряжения. Я силюсь понять.

– Обычная, нормальная жизнь для тебя погибель, – устало поясняет Олла. – Это не метафора. Ты не сможешь играть по общепринятым правилам и сдохнешь под забором, дурное дело нехитрое. А если произойдет чудо, и ты научишься быть обычным человеком, сдохнешь по другой причине, без всяких там заборов. За ненадобностью. Хочешь выжить – юродствуй, у тебя это славно получится. Будь поэтом или знахарем, забавным городским чудаком или маньяком-убийцей, или монахом, или странствующим Казановой; предложи свои услуги

спецслужбам, или запишись в революционеры; на худой конец, можешь стать сутенером или уличным музыкантом...

- Это как раз невозможно. У меня нет слуха.

- Ну, значит, уличного музыканта из списка приемлемых для тебя судеб придется вычеркнуть. Впрочем, мы с тобой говорим не о подобающем тебе занятии, а о способе бытия. Тебе нельзя отвлекаться на попытки зажить нормальной жизнью по общепринятым правилам, только и всего. Работать при этом можно хоть участковым милиционером - если, конечно, у тебя хватит пороку разыгрывать такой спектакль.

10. Айы

- А можно я не буду участковым милиционером? - вежливо спросил я.

- Можно, - великодушно разрешила гадалка.

- А что мне еще можно? Что нельзя жить нормальной жизнью и иметь дело с нормальными людьми, это я уже понял. А с кем мне в таком случае можно иметь дело?

- Со всеми остальными. С мужчинами, которые не стремятся к первенству, с женщинами, которые не озабочены поисками любви. С ангелами и с чудовищами, с монстрами и святыми - хотя, на первый взгляд, они, возможно, ничем не отличаются от прочих... Околачивайся поближе к людям, которым чуждо хоть что-нибудь человеческое. К тем, кто действительно имеет значение, и к тем, кто не имеет значения вовсе. Научись узнавать их в толпе, наловчись подбирать к ним ключи, поищи в своем сердце сокровища, которыми их можно соблазнить. Это непросто, но дело того стоит. Именно они бросают кости в твоей игре - даже в тех случаях, когда ты уверен, что событиями движет твоя собственная рука...

– Ты меня напугала, – честно признался я. – Грустно это все. Мне бы хотелось думать, что ты просто морочишь мне голову, но... я откуда-то знаю, что не морочишь. И от этого жутко делается.

– Ну, может быть, жутко, – ее руки взлетели к вискам, пальцы погрузились в лисий шелк шевелюры, губы дрогнули в мечтательной улыбке. – Но на самом деле я говорю тебе прекрасные вещи. Я тебе даже завидую, откровенно говоря. Я бы с радостью поменялась с тобой судьбами; я бы украла твою жизнь, не раздумывая, но я не умею. Древнее это искусство, кажется, утрачено безвозвратно... Очень может быть, что тебе предстоит несколько нелегких дней или даже лет, это правда. Ты не захочешь, да и не сможешь принять свою судьбу, и будешь бегать: от нее, от себя, от моих предсказаний и от собственных предчувствий. Но даже эта дурацкая беготня – чудесное занятие, и мне искренне жаль, что я не смогу к тебе присоединиться.

– А почему? – печально спросил я, и сам оторопел от собственного вопроса, а еще больше – от невесты откуда взявшейся печали. В этот момент не было на земле существа, более близкого мне, чем эта странная рыжая женщина с непростым характером и нелепой профессией. Впрочем, сейчас, кроме нас двоих, вообще никого на земле не было, в этом, наверное, все дело.

– Ну... так уж сложилось, – неопределенно объяснила Олла. – Я пока не могу покинуть этот город, а ты не сможешь тут оставаться... Впрочем, сам увидишь, как все сложится. Тебе скорее понравится, чем нет, я так думаю.

– Не расскажешь подробнее?

– Не расскажу. Зато открою тебе еще одно правило твоей игры. Скоро, совсем скоро ты сам сможешь ответить на все вопросы: свои, чужие, чьи угодно. Если захочешь, ты станешь прекрасным оракулом, только не вздумай следовать традиционным ритуалам: они для тебя губительны. Будь внимателен, и весь мир станет твоей гадальной колодой. Трещины на асфальте и ветви деревьев будут принимать форму рун – ты только научись их читать. Книга, открытая наугад, будет содержать ответ на любой твой вопрос; птицы всегда укажут тебе верное направление, а из номеров проезжающих мимо тебя автомобилей сложатся формулы, расшифровав которые, ты не только свинец, но и кошачий помет превратишь в золото. Если захочешь заниматься такой ерундой, конечно.

– Даже так? – лепечу, едва разлепив пересохшие вдруг губы. Я сбит с толку, выбит из колеи, сижу дурак дураком. У меня была такая хорошая «своя тарелка», а меня оттуда насильственно извлекли. Олла наматывает меня на вилку, как некую причудливую макаронину. Есть, правда, вроде бы не собирается – и на том спасибо.

За окном пронзительно каркнула ворона, словно бы подавая сигнал затаившемуся в ожидании подходящего момента невидимому оркестру урбанистической культуры. Где-то рядом, возможно, в соседней квартире, звонко залаяла собака, откуда-то издалека тут же откликнулась ее басовитая товарка. Взвыл автобус, ударилось об асфальт стекло, вместилище живительной влаги (предсмертный звон бьющейся бутылки ни с чем не спутаешь), печально, с бессильной старческой хрипотцой заматерилась жертва прискорбных обстоятельств. Взвыла сирена скорой помощи, заржали подростки; визгливое сопрано зазывало домой какого-то Шуру – не то конопатого дошкольника, не то сорокалетнего алкаша, сразу ведь не разберешь. Инструменты оркестра звучали слаженно, городская симфония еще никогда не представлялась мне столь продуманным, гармоничным и завершенным произведением. Но насладиться ею в полном объеме мне не довелось.

– Все, твое время вышло, – объявила Олла. – Тебе пора домой. Наталью не буди, пусть еще у меня погостит. В любом случае, вам не по дороге.

– Да нет, по дороге, если ехать на сто сорок третьем автобусе, просто ей выходить на пять остановок раньше... впрочем, мы все равно кофе пить собирались в центре.

– Мало ли что вы собирались... И при чем тут какой-то автобус? «Не по пути» – это значит, что не тебе ее будить. Не твоего это ума дело, Макс. Тебе сейчас нужно не в кофейню, а домой. Запереться там от всех друзей-приятелей, распутать нитку и сжечь ее. А потом – прожить ночь, которая наступит. Все, что случится с тобой между моим подъездом и завтрашним рассветом, – очень важно. Это – карта. Это твое главное дело сейчас.

– Ничего не понимаю. Какая карта? Это метафора? – я жаждал развернутых пояснений, но она подняла меня со стула и чуть не насильно подталкивала к выходу.

– Метафора, не метафора... Тут и понимать-то нечего. Просто распутай нитку, сожги ее и доживи до рассвета. Проживи эту ночь с широко открытыми глазами. Действуй по обстоятельствам, смотри по сторонам, запоминай, мотай на ус. Больше ничего от тебя не требуется.

– А я могу еще раз зайти к тебе? Завтра, или в четверг, или когда скажешь...

– Может быть, и можешь. Но вряд ли захочешь. Не до меня тебе будет в ближайшее время.

– Все так ужасно?

– Наоборот. Изумительно. У тебя все будет в порядке, – шепнула Олла, открывая мне дверь. – Лучше, чем ты сам себе мог бы пожелать. Много лучше. Это тоже правило твоей игры. Последнее на сегодня.

11. Акахада-но усаги

Шестьдесят шесть ступенек вниз – я считал их, словно бы творил некое спасительное заклинание. Распахнув дверь подъезда, вознес безмолвную, но прочувствованную молитву неведомым милосердным богам: городской пейзаж был скуден, скучен и неизменен; асфальт под ногами – щербат, но упоительно тверд; небо над головой – легкомысленная сатиновая синь, этакие необъятные «семейные» трусы божества, как и положено нормальному майскому небу. Мир уцелел. Я, кажется, тоже.

Ехать домой не хотелось. То есть ехать хотелось, но не домой, а просто ОТСЮДА, из этого стремного места, где хрущевские пятиэтажки имеют обыкновение становиться призраками небоскребов, а изящные рыженькие женщины обладают скверными манерами и тяжелым характером древних пророков. Мне требовалось немедленно оказаться где-нибудь в центре города, где шумно, людно, суетно; где на любом углу на одну чужую рожу приходится полтора десятка смутно знакомых рыл. Пусть берут меня под руки, ведут куда-нибудь и врачуют своими милыми повседневными глупостями, потому что...

Я и себе-то не мог толком объяснить, что именно со мной не в порядке. Просто во всем происходящем мне теперь чудилась некая недостоверность. Небо было расположено то ли слишком близко к земле, то ли чересчур высоко; автомобили и автобусы ехали по шоссе то ли необычайно быстро, то ли, напротив, непривычно медленно; прохладный морской ветер проникал не только под одежду, но, кажется, под самую кожу, отчего мышечная мякоть зябко содрогалась, а кончики пальцев твердели и теряли чувствительность – это на весеннем-то солнце! Прохожие... С прохожими была какая-то отдельная беда: они словно бы не видели меня, а если подходили слишком близко – поспешно отводили глаза и огибали мою замершую на перекрестке тушку по какой-то слишком уж крутой дуге. Возможно, впрочем, мне это только мерещилось, но впечатление складывалось тягостное. Я и прежде не раз охотно именовал себя «ссылным инопланетянином», но это была всего лишь поза, умозрительная картинка, нарисованная для утешения собственного честолюбия («я не такой, как все» – о-о-о-о-о, круто, круто!). А вот сейчас я впервые почувствовал себя чужеродным предметом в мире людей, причудливой унылой кляксой на жизнерадостном предвечернем фоне южного города. И ощущение это оказалось скорее малоприятным телесным переживанием, чем сладостным плодом умственного усилия. Я испытывал легкую, но изматывающую дурноту. Нет, меня не тошнило от окружающего мира, но я явственно чувствовал, что мир тошнит от меня. Я был куском непереваренной органики – только-то. И библейско-достоевская цитата: изблюю тебя из уст моих, – казалась удивительно актуальной.

От этого морока, как я тогда полагал, существовал лишь один рецепт: быстренько добраться до центра, отыскать там теплую компанию друзей-приятелей, как следует выпить (хоть и не люблю я напиваться, но сегодня – сегодня сам бог велел!). Подвернется коробок травы – еще лучше. Но никаких галлюциногенов: их мой организм, кажется, начал вырабатывать самостоятельно... Оглушить себя, довести до ручки, притупить ощущения, усыпить разум; хорошо бы еще привести домой женщину, все равно кого, лишь бы без особых проблем. Чтобы осталась до утра, потому что сегодня я буду бояться темноты...

У меня была слабая надежда, что после столь интенсивного терапевтического курса я проснусь как новенький. С квадратной головой, конечно, не без того, но морок уйдет. И это главное.

Я так стремился к исцелению, что решил взять такси. Это, конечно, была чистой воды дурь: деньги у меня в последнее время появлялись редко, помалу и без гарантии новых поступлений. Одна поездка в такси – это два дня умеренно сытой жизни. Или один день, но суперсытой. Или три похода в кофейню. Или полкутежа. Или много хорошей пленки для фотоаппарата, или треть платы за электричество, каковое мне уже не раз грозились отключить за долги, или... В общем, я не мог позволить себе тратить деньги на такси. Но сейчас это не имело значения. Поездка на такси займет десять минут, а на автобусе, огородами, да со всеми остановками – сорок, не меньше. И ждать его еще придется – хорошо если полчаса, а то ведь и до ночи, если не до следующей реинкарнации.

Синяя «копейка» затормозила сразу же, стоило руку поднять. Я возликовал и вежливо осведомился у пожилого усатого мужика, подвезет ли он меня к театру на улице Леннона (центральную улицу города, названную в честь первой русской мумии, пока не спешили переименовывать, и черт с нею: еще два поколения назад городская молодежь наловчилась должным образом комкать ульяновское погонялово; традицию постепенно усвоили даже те горожане, чьи музыкальные пристрастия ограничивались Пугачевой да Джо Дассеном). Дядечка флегматично кивнул, не стал даже цену поездки назначать заранее, оставляя сей животрепещущий вопрос на мое усмотрение. Словно догадывался, что в таких случаях я плачу чуть больше, чем положено.

Курить в машине мне великодушно разрешили; самое же удивительное, что в салоне имелся кассетный магнитофон – не встроенная магнитола, конечно, тогда такая роскошь была редкостью – просто лежала на заднем сидении маленькая переносная «сонька» и сипло насвистывала некий приятственный джазец. Я расслабился. Курил, слушал музыку, гадал, кто из приятелей встретится мне сейчас первым и хватит ли значенной в нагрудном кармане пятерки для овеществления запланированного загула; на все формы размышлений о давешнем визите к гадалке был наложен строжайший запрет. Я умею держать себя в узде, если очень припрет.

Релаксация моя достигла неописуемых высот, когда водитель остановил машину. Я полез в карман за деньгами. К моему изумлению, он буркнул: «Не надо, мне по дороге было», – неслыханное событие для новой, только-только наступившей, эпохи всеобщей экономической неприкаянности. Я так растерялся, что, кажется, даже поблагодарить забыл усатого своего благодетеля. Вылез из машины чуть не в полуобморочном состоянии: скорее, скорее, пока ангелы-

хранители мои не опомнились и не вразумили этого блаженного.

Когда я понял, что меня высадили вовсе не напротив театра драмы на Ленина-Леннона, а на углу улицы Шевченко и проспекта Мира, точнехонько у моего подъезда, синей «копейки» и след простыл.

– Ну, дела... – жалобно сказал я сам себе. – Я же его просил... Адрес-то мой как он угадал, а?

Ответа, разумеется, не последовало. Небеса не разверзлись, дабы отправить мне огненный факс с пояснениями, да и лукавый Мефистофель не твякнул из-за угла черным пуделем. Напрасно, кстати: я бы сейчас охотно уступил ему свои Ка, Ба, Ах и прочие метафизические кишки, если бы в пакет дьявольских предложений входил полный набор четких и ясных ответов на все мои вопросы. Однако Фауста из меня не получилось.

По всему выходило, что мне следует идти домой и выполнять нехитрую инструкцию суровой Оллы-Хельги. Знак судьбы и все такое... Ага, как же!

Когда я понимаю, что меня к чему-то принуждают, я теряю разум. В таких случаях я упрям как осел и не способен трезво оценить ситуацию. Я буду стоять насмерть за право поступить по-своему, даже если в глубине души знаю, что затеял глупость. Я и летать-то, вероятно, до сих пор не научился потому лишь, что никто никогда не запрещал мне летать. Попробовали бы!

Поэтому я пожал плечами, сунул руки в карманы и зашагал прочь. От моего дома до пресловутой улицы имени мумии и музыканта всего-то минут пятнадцать пешком. А если быстро идти, то и вовсе десять. А если очень быстро...

Галопом я все же не понесся, но к тому шло.

Торопливость моя оказалась излишней. Улица была на месте, театр – тоже, сквер возле театра никуда не делся. Да и любимая моя безымянная кофейня (когда-то она называлась, конечно же, «Театральное кафе», но вывеску еще года полтора назад похитили мои друзья-художники для каких-то своих загадочных артистических нужд, а тратиться на новую дирекция не пожелала) не только не исчезла, но и выпустила на тротуар разноцветные щупальца пластиковых столиков. Чего в этом идиллическом пейзаже не хватало, так это знакомых рыл.

Это в южном-то городе, в самом начале душистых майских сумерек.
Невозможно.

– Не-воз-мож-но! – сказал я вслух, по слогам. Две девушки в одинаковых джинсовых платьях взглянули на меня испуганно и чуть презрительно, как обычно смотрят на городских психов, и торопливо зацокали каблукками от греха подальше. Одна из них была совершенно в моем вкусе, вторая принадлежала к разновидности женщин, которых я видеть не могу. Почему-то они очень часто ходят парами, эти два типа, и чудовища заботливо оберегают красавиц от моих посягательств. Эх!..

Я зашел в кафе, с неудовольствием отметил, что кассирша там сегодня новая, и за стойкой суетилась какая-то инородная пигалица с искусственными ресницами, – а ведь я не только всех местных теток, я, кажется, даже бесчисленных членов их семей в лицо знал! Взял чашку кофе, пятьдесят граммов коньяку, вышел на воздух, уселся на темно-зеленый пластмассовый стул, взгромоздил посуду и локти на красную клеенку. Закурил, огляделся. Народу – тьма, знакомых лиц – ни одного. Впору с ума сойти.

Минут сорок я нес вахту за столиком. Потом нервы мои не выдержали, и я покинул пост. Часа полтора блуждал по городу. Обошел все мало-мальски обжитые места; в финале заглянул даже на книжную толкучку в надежде встретить там знакомых спекулянтов. Шансы были велики: одному я задолжал семь рублей за тонкий коричневый ломтик сочинений Борхеса; другому заказал дорогущую двухтомную энциклопедию «Мифы и легенды», за которую пока не мог расплатиться; третьему проиграл в клябор дореволюционное издание «Графини де Монсоро» (отдавать-то книжку не жалко, а вот лезть за нею на антресоли я ленился уже второй месяц кряду). Согласно закону подлости, ребята были просто обязаны вынырнуть из толпы прямо перед моим носом и сурово потребовать расплаты. Ан нет, не вынырнули, хотя время сейчас у них самое горячее: после обеда люди почему-то расстаются с деньгами куда охотнее, чем поутру, не знаю уж почему...

Отсутствие знакомых лиц там, где им было положено находиться, постепенно сводило меня с ума, я терял чувство реальности и едва ориентировался в знакомых переулках – а ведь в этом лабиринте невозможно отыскать булыжник, который хоть раз да не попирался бы моей стопой.

Ветер, настигший меня возле дома гадалки, следовал за мной по пятам, я уже пропитался им насквозь, как пропитывается влагой одежда в туманный день. Засунув меня в соковыжималку, можно было бы получить несколько порций великолепного свежего ветра. Какая-никакая, а все же хозяйственная польза!

Я все еще помнил, кто я такой; помнил даже, какого рода нужда заставила меня описывать бесконечные круги по центральной части города... но уже начинал всерьез подумывать о том, чтобы записать эту бесценную информацию на бумажке: «Я – Макс, ищу знакомые лица, в случае полной утраты памяти прошу доставить меня по адресу: улица Шевченко, дом четыре дробь десять, квартира тридцать шесть. Есть надежда, что именно там я и живу». Бумажку следовало предусмотрительно приколоть к груди: авось, встретится на моем пути к безумию некий милосердный самаритянин, способный выполнить инструкцию.

В какой-то момент я наконец сообразил, что можно просто обзвонить всех знакомых, чьи номера я помню. Если уж их нет ни на улицах, ни в кафе, хоть кто-то должен оказаться дома. Еще одну вечность я угробил на поиски телефонов-автоматов. Разумеется, не нашел ни одного исправного – кто бы сомневался!

Надо было возвращаться домой. По крайней мере, там обретался телефонный аппарат идиотически жизнерадостного оранжевого цвета. Разум уже давно подводил меня к этому разумному решению, однако ноги уносили в противоположном направлении. Мне бы свернуть на Спартаковскую, откуда до моего телефонизированного жилища рукой подать, а я зачем-то свернул на улицу Маяковского, и вот тут-то...

12. Али

К улице Маяковского у меня всегда было особое отношение. Я очень любил ее – узкую, короткую, тенистую, засаженную липами и почти не порченную выхлопными газами, хотя дорожные знаки проезду автомобилей отнюдь не препятствовали. Одна сторона улицы Маяковского всегда была людной и оживленной, небо над нею пестрело лоскутами парусиновых тентов, прохожие

локтями прокладывали себе дорогу между столиками летних кафе и табуретами окрестных жителей, опрокидывали казенную посуду с остатками кофе, чертыхались, хохотали, приветствовали друзей-приятелей, прилюдно устраивали семейные сцены, обменивались любовными признаниями, сплетнями и кулинарными рецептами. Задворки городского сада жасминовыми облаками напоздали на тротуар; голуби, воробьи и вороны то и дело вспархивали из-под ног пешеходов, но не желали воспарять, ибо помыслами местных пернатых управляли бойкие старушки с мешками тыквенных и подсолнечных семечек: их деревянные скамеечки были расставлены строго на расстоянии пяти метров друг от друга, не больше и не меньше. Здесь же бегали дети и собаки, жались к горсадовскому забору робкие филателисты, а пролетарии всех стран (в частности, отечные музыканты из похоронного бюро и чернокожие студенты из близлежащего общежития Института связи) с энтузиазмом воссоединялись на перекрестке, где с раннего утра дежурила бочка с квасом.

Противоположная же сторона улицы Маяковского всегда была пустынна; редкие одинокие прохожие вызвали настороженное недоумение местных обитателей: экий топографический нигилизм! Даже птицы там не селились, зато и не гадили; так что асфальт казался стерильным, по крайней мере, не пестрел белесыми кляксами помета. Здесь стояли двухэтажные жилые дома из серого ракушечника, выходящие на улицу окна предусмотрительно скрывались за одинаковыми решетками: убогая четвертушка круга в углу, от нее, подобно солнечным лучам, разбегаются толстые железные прутья. За высокой оградой между домами скрывался миниатюрный костел – возможно, самый маленький в мире храм этой конфессии; на углу высилась угрюмая, облицованная изжелта-сизым кафелем, пятиэтажка, построенная сравнительно недавно, в начале семидесятых годов; из-за железных ворот, ведущих во двор, веяло холодом даже в июле. Одна из подворотен по «необитаемой» стороне улицы Маяковского была знакома любому совершеннолетнему горожанину: там проживала знаменитая Валька-Мадонна, торговавшая спиртным в ночное время. Я сам не раз навещал эту плодово-ягодную фею и могу свидетельствовать: мне всякий раз требовалось сделать над собой некоторое усилие, чтобы перейти на ту сторону улицы. С моими приятелями творилось то же самое, хотя никаких рациональных объяснений этого феномена у нас, разумеется, не находилось.

Теперь же с улицей Маяковского творилось что-то вовсе неладное: она была абсолютно пустынна. Вся, полностью. Куда-то пропали случайные прохожие и местные обыватели, досужие завсегдатаи кофеен и вездесущие старушки с семечками. Даже детей и птиц не было. Исчезла бочка с квасом; разноцветные тенты и шаткие столики из белой пластмассы тоже накрылись некой губительной

вагиной. Я поначалу даже решил было, что сдуру куда-то не туда свернул. Однако таблички с названием улицы, липы, жасмин, костел и солярные оконные решетки были на месте.

Я замедлил шаг, некоторое время бродил по тротуару, во все глаза пялясь по сторонам. Наконец остановился, окончательно оглушенный. Желудок занял от страха – совершенно иррационального и потому непреодолимого.

– Успокойся, – сказал я себе вслух. – Мало ли... Ну, закрыли кафешки, бывает. Санэпидемстанция наехала, или бандиты, или еще какая дрянь приключилась.

Звук собственного голоса обычно оказывает на меня целительное действие. На сей раз, однако, проверенный метод не сработал. Я почему-то испугался еще больше.

А потом я как-то внезапно понял, что уже стемнело. Кажется, только что начали сгущаться сумерки – и не синие ночные, а дымчатые, предзакатные, ласковые, лживые, сулящие волшебный вечер даже самому разнесчастному бедолаге, бредущему в ближайший гастроном на предмет закупки недельных запасов кефира. Выходило, что я как-то проворонил, бездарно растранижил на беготню самое сладкое время суток, границу между вечером и ночью... Но этого быть не могло. Потому что еще и пяти минут не прошло с тех пор, как я свернул на улицу Маяковского, а когда я сворачивал, день не собирался уступать вечеру, птичий щебет не умолкал, окна не озарялись желтым леденцовым сиянием и свет фонарей не растекался бледными лиловыми кляксами по синеющему асфальту, даже речи об этом не шло.

Фонари, впрочем, и сейчас не горели, да и окна домов оставались темными. Ночь, однако, наступила – по крайней мере, на одной, отдельно взятой городской улице. Нервы мои не выдержали, я развернулся на сто восемьдесят градусов и побежал.

Дальнейшие события выходят за рамки моих тогдашних представлений о возможном, поэтому изложить их более-менее внятно я не способен. Могу сказать только, что никуда я не прибежал, как ни старался: то ли топтался на месте, то ли проклятая улица вдруг стала бесконечной, как прямая линия из школьного курса ужасающей науки геометрии. В какой-то момент я сдался, сел на тротуар, обхватил колени руками, спрятал лицо – страус, да и только.

Я бы закричал, пожалуй, да сил на это уже не было. Меня охватило оцепенение, почти спасительное: все же никаких монстров, желающих заполучить меня на ужин, поблизости не обнаруживалось, а будь у меня чуть больше энергии – кто знает, какие глупости я бы мог совершить? Стал бы, например, стучаться в окна, ломиться в подворотни, или на дерево полез бы – а я совершенно уверен, что ничего в таком роде мне тогда делать не следовало. Сидеть на асфальте, скукожившись, – еще куда ни шло.

Не знаю, сколько я так просидел. Думаю, не слишком долго: будь у меня больше времени, я бы наверняка собрался с мыслями и попробовал бы найти выход из этой нелепой, но кошмарной ситуации. К чему привели бы мои поиски – иной вопрос; ответ на него не льстит моему самолюбию... ну и ладно.

Но мне так и не довелось приступить к решению этой непосильной головоломки. Откуда-то издали донесся слабый шум. Звук этот оказал на меня весьма благотворное воздействие: он был знакомым, обычным, из ряда вон ни в коем случае не выходящим. Один из повседневных городских звуков; другое дело, что я не сразу его опознал. Ничего удивительного: все привычные уху горожанина шумы звучат, как правило, не отдельно друг от друга, а образуют сложные, многоголосые композиции.

Впрочем, через несколько секунд я все же понял, что звук этот свидетельствует о приближении некоего транспортного средства. Что-то ехало по улице Маяковского, но вот что? Не легковой автомобиль, не автобус, и уж тем более не грузовик. И, конечно, не трамвай: трамвайный лязг не спутаешь ни с чем.

Я наконец решился поднять голову и уставился на проезжую часть. Ко мне приближался троллейбус, добродушное ручное рогатое создание. Салон был ярко освещен, красные сигнальные огоньки придавали транспортному средству сходство со скудно убранной новогодней елкой. Двухзначный номер не поддавался идентификации – обычное дело для нашего городского транспорта – но номер сейчас не интересовал меня совершенно. У меня была одна цель: убраться подальше от улицы Маяковского и никогда – НИ-КО-ГДА! – сюда не возвращаться. Это все.

Троллейбус остановился рядом со мной, дребезжа, открылась задняя дверь. Я метнулся в салон, дверь мягко закрылась (впрочем, неплотно: оставалась здоровенная щель, сквозь которую в салон тут же пробрался мой сегодняшний спутник, холодный морской ветер). Троллейбус поехал. Я тихонько рассмеялся

от облегчения. А потом вспомнил, что по улице Маяковского не ходят троллейбусы, здесь и проводов-то отродясь не было.

До сих пор не знаю, почему я тогда не закричал, не запаниковал, не стал протискиваться в щель между створками разболтанной двери, не рванул к кабине водителя, дабы безотлагательно убедиться в его антропоморфности. Во мне словно бы перегорел некий неведомый предохранитель. Поскольку мой организм, вероятно, не был рассчитан на страх такой мощности, я внезапно успокоился. Вернее, обмяк. Откинулся на спинку сидения, меланхолично погладил ладонями прохладную дерматиновую поверхность.

«Все в порядке, – вяло думал я. – Все хорошо. Можно выйти на следующей остановке. Конечно же, можно. Ну вот, и выйду».

Я не сразу заметил, что за окном снова стало светло. Ну, почти светло: сумерки все же мало-помалу отвоевывали город у армии солнечных бликов. Троллейбус вырулил на Спартаковскую площадь, оттуда свернул на проспект Мира. Теперь он ехал по хорошо знакомому мне одиннадцатому маршруту и уверенно приближался к моему дому. На остановках, впрочем, даже не притормаживал. Я не удивился, когда троллейбус остановился напротив моего подъезда. Задняя дверь неспешно, словно бы лентясь, открылась. Я выскочил на улицу и только теперь решился украдкой покоситься на кабину водителя. Невнятное усатое лицо вполне могло принадлежать моему давешнему благодетелю, водителю синей «копейки». Впрочем, оно с тем же успехом могло принадлежать кому угодно: таких усатых мужиков средних лет в клетчатых рубашках пруд пруди в любом городе, имя им легион.

Троллейбус скрылся за углом, а я вошел в свой подъезд и, перепрыгивая через ступеньки, понесся наверх. План дальнейшего существования был ясен и прост: запираю дверь, включаю все осветительные приборы, выпиваю рюмку чего-нибудь значенного (или даже две, но не больше, потому что расслабляться пока рано)... выкуриваю полпачки сигарет, с горем пополам успокаиваюсь и распутываю Оллину нитку. А потом – в огонь ее, в огонь! От греха подальше. Я решил, что экспериментов на сегодня достаточно. Буду выполнять инструкцию, а там поглядим.

Пока я дрожащими руками шерудил ключом в замке, за дверью вопил телефон. Я успел-таки вскрыть свое жилище, снять трубку и услышать сакраментальное: «Куда ты подевался?» – после моей давешней одиссеи вопрос звучал более чем цинично. Я пробурчал что-то невнятное, сказал, что, дескать, очень занят, обещал перезвонить позже. Стоило опустить трубку на рычаг, телефон зазвонил снова. Диалог слово в слово соответствовал предыдущему, в финале я снова отделался обещанием перезвонить. Завершив беседу, я наконец запер за собой дверь и направился к книжному шкафу, где таилась приныканная на черный день бутылка болгарского бренди, наполовину пустая, поскольку два вполне себе «черных» дня у меня на этой неделе уже случились. Телефонный звонок раздался в тот момент, когда я обшаривал комнату в поисках чистой рюмки. Дело, конечно, безнадежное, но я всегда был идеалистом...

Четвертый и пятый телефонные звонки последовали сразу же за третьим. Я начал понимать, что если так пойдет и дальше, я не только проклятущую нитку не распутаю, но даже честно заслуженную рюмку микстуры от стресса не волью в свой исстрадавшийся организм.

Поэтому я аккуратно положил телефонную трубку рядом с аппаратом. Пусть себе теперь звонят, может же у меня в кои-то веки быть занято? Может.

Ну и вот.

Напоследок я адресовал взбесившемуся аппарату укоризненный взгляд, почти машинально взял с подоконника чистую (хо-хо, знай наших!) рюмку, налил себе немного бренди, проглотил, почти не ощущая вкуса, закурил, налил еще, уселся на ковер, скрестив ноги. Еще глоток жгучей ароматной жидкости... ага, вот оно, спокойствие. И только спокойствие. Мне показалось, что все начало наконец становиться на свои места. Прогулка по улице Маяковского – черт с нею, сейчас-то я был дома, взаперти, в безопасности, один. Мое отражение успокаивающе улыбалось мне из настенного зеркала, повешенного в свое время специально для иллюзорного увеличения площади комнаты. Я адресовал своему заботливому двойнику ответную улыбку. Нам всегда было хорошо вместе, что правда, то правда.

И тут зазвонили в дверь.

Я возблагодарил милосердное небо за то, что не успел осуществить свое решение касательно возжигания всех мыслимых осветительных приборов. Теперь можно делать вид, будто меня нет дома. Вот и славно: меньше всего на свете я сейчас был готов к роскоши человеческого общения. Раньше надо было попадаться мне навстречу, когда я в поисках родной человекодуши по городу метался, а теперь – все, проехали. Мне нитку распутывать надо, такие вот дела. Да и не осталось у меня в запасе ненужных слов для поддержания светской беседы. Все подевались куда-то...

Я разрешил себе еще одну порцию бренди: рюмка была совсем крошечная, жидкость цвета крепкого чая словно бы и не убывала из бутылки. Извлек из пачки новую сигарету, с удовольствием отметил, что руки уже не дрожат. Красота!

Звонок снова полоснул по нервам. Я поморщился: умеют все же некоторые граждане обламывать кайф, даже такой скудный. Трезвонят и трезвонят, словно свет клином на мне сошелся, будто некуда больше деться, и я – последняя надежда, а моя комнатуха – единственное пристанище. Возможно, впрочем, именно так и обстояли дела моего неизвестного визитера – что ж, значит, ему крупно не повезло. Моя задница не намеревалась отрываться от ковра, благо я как раз извлек из кармана ужасающую Оллину нитку и принялся распутывать первый из бесчисленных узлов.

Звонок умолк, словно бы собираясь с силами, потому что минуты через три он задребезжал снова. На сей раз звонили настойчиво, я бы даже сказал – беспардонно.

– А если у меня девушка? – возмущенным шепотом спросил я у входной двери. – А если я под калипсолом? А если я уехал на дачу, в Москву, в Петушки, к черту на рога? А если я умер? Что ж теперь, дверь мне выламывать?! Мудачье.

Звонок умолк, словно бы обидевшись. Я спрятал торжествующую улыбку в уголки губ и принялся за следующий узел. Дело понемногу шло, узлы сдавались, и это делало меня совершенно счастливым. Сказал бы мне кто-нибудь пару дней назад, какого рода деятельность, оказывается, наиболее благоприятна для моей психики...

Новый звонок меня по-настоящему рассердил: теперь звонили не мне, а моему соседу, алкоголику Диме, человеку без определенных занятий, без возраста, без крупицы разума, зато неизменно добродушному и покладистому, в каком бы состоянии он ни пребывал. Блям, блям, – призывно тренькали фальшивые нотки за стеной. Обычный маневр: всем известно, что Дима не только моим друзьям, он зеленым человечкам с Марса дверь откроет в надежде на глоток дармовой аквавиты, а не достанется ничего – что ж, вздохнет тяжело и зашаркает в свою берлогу, ждать следующего шанса. А захватчики могут располагаться на коммунальной кухне, шарить по соседским кастрюлям в поисках закуски и караулить меня. Считается, что рано или поздно я вернусь домой. До сих пор именно так всегда и случалось...

Я распутывал нитку и слушал, как бредет по коридору мой сговорчивый сосед, лязгает замок, коридор взрывается топотом и голосами. Компания, судя по всему, ко мне заявила не самая маленькая. Теребя очередной узел, я распознавал голоса чужих, в сущности, людей, вознамерившихся похитить у меня очередной вечер жизни – потому лишь, что пить в кафе дорого, в парке – опасно (памятуя недоброй памяти восемьдесят пятый год, милиция все еще с энтузиазмом выслеживала пьяниц в так называемых «общественных» местах), а свободных хат, без родителей, жен, детей и прочей нечистой силы – раз и обчелся... И вот ведь странное дело: до сих пор такое положение вещей меня вполне устраивало; более того, всего пару часов назад я рыскал по городу в надежде встретить этих самых людей, а сейчас едва сдерживал гнев. «Закончу с ниткой, выйду и разгоню всех на хрен, – мрачно обещал я себе. – Ох, я им испорчу вечер! Ну, испорчу...»

Незванные татаро-монголы тем временем принялись стучать в мою дверь: «Макс, открывай, ты дома, Левка видел, как ты в подъезд заходил...»

«А я сплю, – сердито думал я. – Сплю и не просыпаюсь. У меня здоровый, крепкий, младенческий сон. Пшли вон, уроды!»

«У Карела же день рождения, – вещали из-за двери “уроды”. – У нас полная сумка водки, два торта и палка колбасы! И Ирочка тут, она тебя сегодня любит... Ирка, скажи Макс, чтобы он открыл...» – и далее, с припевом и повторами, снова и снова, как заведенные.

Какая такая Ирочка-Ирка меня сегодня любила, я так и не уразумел: имя-то распространенное, а высокий требовательный голос показался мне незнакомым.

Ну и черт с нею, хуже нет, чем такой вот эротический шантаж на весь коммунальный коридор. Безвкусица, перебор. Не царское это дело.

Противостояние продолжалось минут пятнадцать. За это время я покончил с узлами и принялся за разведение ритуального костра в самой большой из стеклянных пепельниц. Мог бы, конечно, и в пластмассовой огонь развести, с меня бы случилось, но этим вечером я на диво хорошо соображал.

Празднование именин наконец началось без моего участия, на территории человеколюбивого Димы. У моей двери выставили что-то вроде почетного караула, каковой периодически побивал несчастную фанеру кулаками и сулил мне колбасные горы и винно-водочные моря в обмен на добровольную капитуляцию. Время от времени к мужским прагматическим обещаниям присоединялось жалобное девичье мяуканье: «Ма-а-акс!» Оно понятно: у Димы обстановка, мягко говоря, не слишком праздничная: два огромных пустующих шкафа, продавленный диван, стол с табуретом, да древний черно-белый телевизор на колченогой тумбочке. А у меня – ковер с подушками для всеобщего возлжания, музыка, свечи и прочая романтическая хренотень. Ясен пень, им было за что бороться!

Давно уже я не чувствовал себя такой законченной сволочью. И ощущение это, как ни странно, пришлось мне по душе. Тайная дистанция между мною и прочими людьми внезапно стала явной. Я не хотел иметь дела со старыми приятелями – с этими, с другими, вообще ни с кем. Кажется, я вообще больше не хотел иметь дела с людьми. Задача трудноосуществимая, но сейчас я понимал, что вполне готов на ее выполнение жизнь положить: оно того стоило.

Нитка тем временем заняла отведенное ей место в пепельнице, в центре моего миниатюрного костерка. Но морока на этом не закончилась. Оказалось, не так-то это просто – сжечь толстую шерстяную нитку. Я почему-то полагал, что она вспыхнет, как бумага, и все, развеивай пепел. Ничего подобного. Тлела, зараза, рассыпалась на разрозненные фрагменты, которые то и дело норовили угаснуть. Вооружившись спичками, я боролся как мог.

Сражение это завершилось моей сокрушительной победой. Победа, впрочем, была чуть ли не Пиррова: я вспотел, обжег указательный палец, подпалил манжету куртки; хорошо хоть волосы и ресницы уцелели, а то гулял бы паленым поросенком, все девушки – мои...

Тут только я сообразил, что гости притихли. Перестали колотить в дверь – это, положим, давно пора было сделать, молодцы; но из-за перегородки, отделявшей мою территорию от соседской, больше не доносилось ни звука. Они, конечно, могли покинуть уютную Димину конуру, но чтобы добрый десяток подвыпивших людей бесшумно проследовал через коммунальный коридор к выходу – невозможно!

Пепел я сдунул в распахнутое окно; бутылку, все еще наполовину наполненную бренди, предусмотрительно спрятал в шкаф. На цыпочках проследовал к двери, прислушался. Тишина! Я повернул ключ, выглянул в коридор. Темно, тихо. Ничего не происходит.

За минувший день я успел порядком устать от нескончаемых нелепостей и несуразиц. Больше всего на свете мне сейчас хотелось поставить точку хотя бы над одним из бесчисленных «і». Поэтому я тихонько постучал в дверь соседа, в глубине души подозревая, что сейчас она распахнется и мне на голову свалятся притаившиеся там приятели. А что, ребята вполне могли прибегнуть к такому розыгрышу, зная мое любопытство. Ну... если так, значит, я попался как дурак, а они заслужили право завершить свою вечеринку на моей территории. Я все взвесил и решил: а почему бы нет?

14. Ан Дархан Тойон

Услышав стук, Дмитрий Акимович мгновение помедлил, потом понял, что стучит Мальчик, а значит, надо открыть. Поспешно, но без излишней суеты он покинул свою излюбленную стенную щель и стал перемещаться к двери, на ходу принимая поднадоевший уже человеческий облик. В последнее время он не раз подумывал о том, что от скверной привычки ежедневно воплощаться в человечину пора бы отказываться. Чай, не юноша уже, фокусы безобразничать. Видали мы таких фокусников – и где они сейчас? То-то же...

На деле, однако, все оставалось по-прежнему: Дмитрий Акимович как-то привык, прикипел к неуклюжей этой оболочке и ценил нехитрые радости людского бытия, испытывать которые без ее участия было бы затруднительно.

Но в глубине души он уже полагал себя бесплотным, как прежде, существом, а потому порой небрежничал: то среди бела дня под потолком задремлет, то в щель какую запрячется, дверь на щеколду не закрыв, то в зеркале поленится отразиться, мимо него шаркая: авось никто не заметит! Да и воплощаясь, Дмитрий Акимович все чаще позволял себе некоторые вольности. То пегие пряди волос вдруг белоснежными кудрями изобразит, то лысину с макушки на лоб передвинет, то римский нос уточкой вытянет, а порой случалось, что и слезящиеся блекло-голубые очи пьянчужки окрашивал в иные цвета. Окружающие ничего не замечали, а даже если и мерещилось им что-то подозрительное, тут же списывали все несообразности на его пьянство. Да и не было им никакого дела до алкоголика Димы: он им не очень мешал, поскольку производил впечатление существа тихого, смиренного и абсолютно никчемного – вот и ладно. Ему это было только на руку: только когда тебя не берут в расчет, и можно спокойно существовать в свое удовольствие.

А удовольствий в существовании Дмитрия Акимовича имелось немало, хотя людям сторонним было бы непросто в это поверить. Но и проблем, конечно, хватало.

Начать с того, что питался Дмитрий Акимович страстями человеческими и за кормежку платил соразмерно, повинуюсь некоему несформулированному, но для него очевидному правилу. Тех, кто был способен испытывать сильные чувства: страх, восторг, ненависть, радость, отчаяние, – Дмитрий Акимович тайно опекал, заботился об их здоровье и долголетию (отчасти из корыстных соображений: кто ж дойную-то корову под нож допустит?!) и по мере скромных своих сил скрашивал их существование – так, по мелочам.

В последнее время, однако, дела Дмитрия Акимовича шли не бог весть как. Жильцы ветхого трехэтажного дома номер четыре дробь десять по улице Шевченко как-то досадно измельчали. Обитали здесь все больше старики-пенсионеры да несколько рыхлых семейных пар. Сильных чувств и тем паче страстей, они практически не испытывали; из острых ощущений им были ведомы голод, жажда и (изредка) физическая боль; редкие тусклые оргазмы можно было вовсе не брать в расчет. Нормой считались, с одной стороны, усталость, раздражение и беспокойство, с другой – сытость, покой, вялое любопытство («что там делается у соседей?» и «что сегодня по телевизору?»). Но этими эмоциями Дмитрий Акимович брезговал, как записной гурман блокадным студнем из клейстера.

Уже лет двадцать минуло с тех пор, как он объявил жильцам дома номер четыре дробь десять форменный бойкот. Хозяйство их приходило в упадок: из кранов вечно капала вода; лампочки то и дело перегорали; газовая колонка редко работала дольше одного дня в месяц, поскольку исправно ломалась после каждого ремонта; молоко стремительно кисло даже в холодильниках; новые обои отклеивались от стен; под половицами деловито сновали мыши, а жирная холеная моль с наслаждением лакомила нежным мехом шуб и ядреной овчиной дубленок, полагая обильный нафталин чем-то вроде пикантного соуса.

Сам же Дмитрий Акимович неожиданно нашел новую «кормушку». В подвальном этаже дома располагался пункт приема стеклотары. Соответственно, ступеньки, ведущие вниз, динамическая композиция из поломанных деревянных ящиков на тротуаре и соседствующая с ними подворотня образовали своеобразный убогий парадиз для местных пьянчужек. Они сносили сюда обнаруженную на улицах пустую посуду, водили дружбу с приемщиками и иногда выполняли их поручения; самые сообразительные порой сновали вдоль очереди и предлагали аутсайдерам сдать тару чуть дешевле, зато немедленно, без томительного ожидания. Заработанные деньги пропивались тут же: «элита» имела право на вход в подвал; менее статусные, как воробьи, сновали в окрестностях, не в силах, впрочем, отойти от священного сооружения дальше, чем на пару десятков метров.

В этой среде, как обнаружил Дмитрий Акимович, бушевали страсти невиданной мощи. Алкоголь развязывал шнурки невидимых ортопедических корсетов, в которые насильственно упаковывается человеческое естество на конвейерах любой из педагогических фабрик планеты. Ненависть здесь в считанные секунды становилась беззаветным обожанием; эйфорический восторг мгновенно сменялся отчаянием (когда, например, падала на асфальт бутылка, на дне которой еще плескались остатки вонючего вермута), меланхолическая тоска вдруг захлебывалась отчаянной истерикой: а-а-а-а, с-с-с-суки! Если и копошились прежде за пазухой Дмитрия Акимовича сомнения: мир, дескать, наверняка идет к концу, а род человеческий вырождается, – то теперь он их решительно отбросил. Понял, что просто не везло дому четыре дробь десять с жильцами – что ж, бывает.

Тогда-то Дмитрий Акимович и стал баловаться с воплощением. Выбрал внешность, идеально соответствующую избранной роли: убогую, неброскую, неприметную. Выходил на улицу, сидел на ящиках со своими новыми любимцами. Те мигом почуяли, что лысоватый молчун Дима принес им удачу:

в тот день, когда он впервые проковылял вниз по крутой лестнице с полной авоськой пивных бутылок, на верхней ступеньке был найден рубль – мятый, как будто им жопу уже два вытирали, но зато не рваный, а значит, вполне пригодный к товарно-денежному обмену. С тех пор, кстати сказать, чудеса такого рода с ними то и дело случались, причем в самый нужный момент: если бутылку кто разбил, или менты наехали, или просто в рыло кто-то получил, – значит, нужно становиться на карачки и ползать среди ящиков: обязательно трояк найдешь, а то и червонец; это прямо-таки местным обычаем сделалось.

Дело кончилось тем, что в одной из комнат коммунальной квартиры номер тридцать шесть умерла одинокая старуха Барышева, и разнежившийся в вечно нетрезвых людских телесах Дмитрий Акимович поспешил занять ее комнату. Соседям и прочим заинтересованным лицам он глаза отвел: плевое дело оказалось, они и не задумались даже над тем, откуда он взялся. Словно бы никакой старухи Барышевой и не было вовсе, а Дмитрий Акимович был всегда. В каком-то смысле именно так и обстояли дела...

Поселившись в людском жилье на правах полноправного и единственного обитателя, Дмитрий Акимович окончательно расслабился. Раздобрел, обленился, стал благодушен. Лампочки в доме перегорали уже не столь часто. Вода из кранов все еще капала, и моль бесновалась по шкафам, а тараканы жировали на кухне, но мышей он, поразмыслив, укротил. Да и на газовую колонку махнул рукой: раз уж починили, пусть себе работает. Не жалко.

А потом, четыре года назад, соседи, проживавшие в комнате, соседствующей с убежищем Дмитрия Акимовича, решили съехаться с мамой. У них были некоторые основания надеяться, что глухая старуха окажется менее долговечной, чем расширенная жилплощадь. Вялые обменные страстишки подкармливали Дмитрия Акимовича долгими зимними вечерами, когда друзья-алкоголики прятались по домам от мокрого снега. Продолжалась эта канитель чуть ли не год, после чего семейство воссоединилось в хрущевской пятиэтажке, где-то за пределами компетенции Дмитрия Акимовича, а в квартире номер тридцать шесть появился Мальчик.

Дмитрий Акимович даже облизнулся потаенно, когда впервые его увидел: о таком жильце можно было только мечтать. Мальчик обладал переменчивым настроением, был эмоционален, восторжен, подвержен приступам неконтролируемого гнева и жестоким депрессиям; однако и взлеты у него были – о-го-го! Он умел хохотать до слез и кричать от боли; ему часто снились

кошмары, но и райские видения порой посещали его незадолго до рассвета; он влюблялся всякий раз словно бы впервые и навсегда, зато и разочаровывался чуть ли не сразу же, и праведный гнев его, обращенный скорее на себя, чем на объект угасающей страсти, был самым лакомым блюдом в рационе Дмитрия Акимовича.

Тот, ясное дело, бросился опекать своего любимца. Окна в комнате Мальчика всегда оставались чистыми, хотя простодушный жилец, кажется, даже не подозревал о том, что их положено время от времени мыть. Оторванные пуговицы незаметно, сами собой, снова оказывались на его манжетах, а носки и ботинки оставались целыми, что бы он с ними ни вытворял; брошенная на столе еда не плесневела даже летом; ключи и прочие мелочи никогда не терялись, а участковый милиционер, надумавший как-то завести с новым ответственным квартиросъемщиком укоризненную беседу о «содержании притона», растерянно потоптался в коридоре и ушел, потирая виски: «Чего это я, а?». Этим благодать отнюдь не исчерпывалась, в жизни Мальчика происходило много приятных странностей, которые он, впрочем, принимал как должное. Его пленки (в ту пору он кое-как зарабатывал на жизнь фотографией) никогда не засвечивались; полезная для жизнедеятельности корреспонденция не исчезала из раздолбанного почтового ящика; самый жестокий грипп непременно проходил к утру; вороватые приятели покидали его дом с пустыми руками, изумляясь собственной честности; черные тараканы ушли жить на второй этаж, а рыжие обрели деликатный нрав; наконец, в самые скудные времена в каком-нибудь кармане непременно обнаруживался якобы заначенный червонец. «Я, оказывается, запаслив как белка! – гордо сообщал Мальчик окружающим. – Вот уж не ожидал от себя!»

Между ними установились очень теплые, родственные, почти интимные отношения, о чем Мальчик, с брезгливым сочувствием взирающий на грузную сутулую фигуру алкаша Димы, разумеется, не подозревал. Вечерами Дмитрий Акимович любил проникать в комнату соседа (в истинном своем бесплотном обличье, конечно же, уютная человечья туша тут была неуместна, да и без надобности). Грелся в лучах его переменчивого настроения, ластился к его тени, чуть ли не мурлыкал по-кошачьи. Мальчик чуял его присутствие, вот что удивительно! Но ничего не мог понять, только ежился зябко, включал музыку погромче, да тянулся за сигаретами, чтобы отвлечься от морока. Дмитрию Акимовичу, который в эти моменты явственно ощущал себя огромным сытым котом, это не мешало.

Он, впрочем, знал, что сей счастливый период его бытия окажется недолгим. «Не жилец, – печально говорил себе Дмитрий Акимович, любовно взирая на своего “кормильца”. – Биться об заклад могу: не жилец!»

Это, впрочем, не означает, будто он собирался хоронить Мальчика. «Не жилец» в устах домового обычно означает лишь тягу субъекта к перемене мест... или обреченность на перемену мест, это как посмотреть. У Мальчика просто-таки на лбу было написано, что нет на свете такого дома, в котором он задержится надолго, а такого рода невидимые надписи полуграмотный Дмитрий Акимович разбирал с лету и усваивал накрепко.

А сейчас Мальчик сам стучал в дверь Дмитрия Акимовича. Событие не сказать чтобы небывалое, случалось такое и прежде. Спички мог попросить, или еще какую ерунду; мог угостить пирожками от очередной дамы сердца или подарить оставшуюся после ухода гостей бутылку вина (сам он напиваться не любил, хотя весьма успешно скрывал сей факт от многочисленной армии своих приятелей). Однажды даже захотел Дмитрия Акимовича сфотографировать, но тот не дался: поди угадай заранее, что там на фотографии отобразится? Нет уж, от греха подальше!

Но теперь сосед стучал совсем по иной причине. Сегодня вечером с Мальчиком творилось неладное. Что именно – этого Дмитрий Акимович не знал и знать не хотел. Мог лишь предположить, что давешние демоны, устроившие сущий кавардак в коридоре, были наименьшей из его забот.

15. Ао Бин

Развеселая компания не вывалилась из комнаты моего соседа. Дверь открыл сам Дима. Вид у него был сонный, в комнате темно, постель разобрана – и не скажешь, что десять минут назад тут бушевало именинное веселье.

– Дима, – говорю, – а мои приятели уже ушли от вас? Вы извините за беспокойство, не мог я им открыть, у меня дело было неотложное...

– Извиняться не надо. Не было тут никаких твоих приятелей, – флегматично отвечает он, отдавая меня роскошным букетом сивушных ароматов.

Ну все, думаю, совсем мужик с крышей своей разругался, память потерял. Только что ведь свалила от него эта гоп-компания... А он вдруг подмигнул мне заговорщически и говорит:

– Это демоны были, Макс, а не твои приятели. Хорошо, что ты им не открыл. Совсем заморочить могли, обычное дело.

– Обычное?! Дело?! Обычное, да? Демоны – обычное дело?! – мой голос почти сорвался на визг. Не везет, так уж не везет. Теперь еще и с соседской белой горячкой изволь возиться! С другой стороны, не бросать же его в таком состоянии... Но и в дурдом сдавать жалко, он ведь безобидный такой мужик, а там замордуют... Интересно, родственники-то у него есть? У кого бы разузнать?..

Дима тем временем понял, очевидно, какое впечатление произвело на меня его заявление насчет «демонов». Вздохнул, зевнул, посмотрел на меня с сожалением. И я вдруг увидел, что глаза у него ясные и такие разумные, что дай бог каждому, мне в том числе, хоть иногда в зеркале такие же обнаруживать.

– Да тише ты, – говорит снисходительно. – Хочешь, чтобы Ковальчуки твои вопли про демонов слышали? Они и так уверены, что ты наркоман, еще немного и письма участковому строчить начнут. Так что кончай орать. Иди к себе в комнату, а я – за тобой.

У Димы даже голос переменялся, пока он все это мне говорил. Какие-то незнакомые мне прежде интонации появились: не то чтобы начальственные, но вполне барственные, словно бы он владел ситуацией, информацией, территорией и вообще всем, чем только можно владеть. Опустившиеся пожилые алкаши вроде моего соседа просто физически не способны производить на окружающих такое впечатление. Удивление мое не поддается описанию: в который уже раз за этот длинный путаный день я был сбит с толку. Достаточно сказать, что я утихомирился, послушно открыл свою дверь и вошел в комнату. Дима, последовал за мной, как и обещал.

16. Апсцваха

– Дверь можешь не запираешь, – небрежно заметил сосед, когда я пропустил его вперед и потянулся к ключу. – Не знаю уж, какой ворожбой ты тут занимался, и знать не хочу, только она уже закончилась. И демоны ушли. Они тебе помешать хотели, а теперь ты им без надобности. Да и не по зубам.

– Дима, – в моем голосе появились жалобные нотки, – ну скажите на милость, какие могут быть демоны с водкой и колбасой? Это Карел был с компанией. День рождения у него, а дома особо не поспрадуешь: там родители и дед в двухкомнатной квартире жмутся. Вот они ко мне и ломались, а потом вы их пустили к себе, и все. Я только не слышал, как они ушли, вот и удивился... Они вас уговорили меня разыграть? Ну, считайте, что уже разыграли. Можете сказать им, что я плакал и просился к маме... А теперь объясните мне, что там у вас произошло, а?

– У меня? У меня ничего не произошло, у меня все в порядке, – как-то вяло откликнулся сосед. – Это у тебя, кажется, были неприятности, и лучше бы тебе поверить мне на слово... Эх, а ведь не поверишь, по глазам вижу! Ладно, раз так, смотри да не отворачивайся.

Он исчез у меня на глазах. Не растворился в воздухе, как кусок рафинада в теплом молоке, на манер воспитанного призрака из малобюджетного ужастика, а просто исчез. Раз – и нету никакого Димы.

– Тут я, тут, смотри! – его голос раздался из-под потолка. Рыхлая туша в древних джинсах и нечистой майке лежала на моем потолке, поодаль от люстры, подперев плешивую голову мясистой ладонью, подтянув колени к брюху. Судя по выражению лица, моему соседу было там весьма комфортно – а еще говорят, что неудобно, дескать, спать на потолке. Глупости какие...

Это я сейчас иронизирую, а тогда мне было не до смеха. На моих глазах случилось невозможное. То, чего быть не могло. Основной подвох крылся в персоне исполнителя. Если бы чудотворством занялась моя новая знакомая,

гадалка Олла, или, скажем, друг детства Вик, каратист, экстрасенс и кореец по матери, или загадочный седой тип в глухом черном костюме, время от времени появлявшийся в кофейне у театра и интриговавший завсегдаев колоритной своей персоной и полным отсутствием желаний коммуницировать с внешним миром – все это куда ни шло. В глубине-то души я всегда был готов к чудесам, можно сказать, жил в ожидании их; еще немного – и взвыл бы от тоски потому лишь, что они, чудеса, не желают со мною случаться. Но при участии алкоголика Димы из соседней комнаты, совершенно очевидное, почти вульгарное в своей подлинности чудо казалось не то дурным сном, не то неуместной шуткой, не то просто температурным бредом. Если уж самый никчемный из обитателей нашей коммуналки вот так, запросто, может взмыть под потолок, значит, я – плод запретной любви Алисы и Мартовского Зайца. Добро пожаловать в Зазеркалье, приехали. Не зря, выходит, я от армии в свое время так легко отмазался: думал, притворяюсь хорошо, а мудрые доктора уже тогда все про меня поняли. Но вот вылечить не сумели, куда уж им, скромным седуксеновым божкам! Я глупо хихикнул.

– Теперь ты отнесешься к моим словам с большим доверием? – осведомился сосед.

В голосе его звучало некоторое сомнение, кажется, он начинал понимать, что рассчитывать на мою вменяемость в ближайшие двести лет не имеет смысла.

– Теперь да, – механически ответил я и снова хихикнул: откуда-то из-за спины ко мне подкрадывалась самая настоящая истерика, добрая подружка моего детства. Сейчас мы с нею встретимся, и все будет хорошо... потому что все будет по барабану. Но я взял себя в руки и попросил: – Только слезьте, пожалуйста, с потолка. Мне будет довольно трудно вас внимательно слушать, если все останется как есть.

Через секунду Дима уже стоял на полу. Не рядом со мной, а у окна. Оно и к лучшему: теперь я предпочитал держаться от него на некотором расстоянии. Если бы он, к примеру, захотел положить руку мне на плечо, я бы заорал и бросился бежать. Но мой фантастический сосед не стал делать резких движений.

– Сразу, пока ты не начал вопить от страха и звать на помощь, – меланхолично начал он, – скажу тебе, что, кроме людей, вокруг тебя во множестве обитают

и другие существа. Так уж заведено в этом мире. Иногда мы выглядим как обычные люди, иногда – как люди необычные, иногда еще как-то, а порой и вовсе никак не выглядим. В этом нет ничего особенного и удивительного, дело-то житейское. Мы же вот не орем от страха и не падаем в обморок, глядя, как вы толпами по улицам носитесь... Если бы вы были менее самодовольны и более внимательны, вы могли бы узнавать нас, водить с нами дружбу и извлекать из этого немалую для себя пользу, хоть и страшновато вам всегда бывает поначалу. Но такое случается очень редко, а жаль... Ты, впрочем, еще ничего. Кота-то ты у себя в доме приметил? Думал, мерещится, да? Вот то-то же...

Этот его вопрос про кота подействовал на меня как ведро ледяной водки на голову: отрезвляюще и опьяняюще одновременно. Про невидимого чеширского кота я не говорил никогда, никому, ни при каких обстоятельствах. Я самому себе старался о нем не рассказывать, чтобы не пугать понапрасну. Следовательно, тот, кто знает о моем коте, вполне может знать и о гипотетических «демонах», ломившихся в мою дверь. Почему нет?

– Ладно, – кивнул я. – Всегда знал, что этот кот существует, вы меня убедили. Кричать и звать на помощь я не буду, сдаваться докторам в Катерининку не побегу, даже если вы опять под потолком повиснете. А теперь давайте поговорим про демонов. Это что, действительно были демоны, а не мои приятели?

– Ты их по голосам узнал? – ответил он вопросом на вопрос.

– Ну... кого-то узнал, кого-то нет. Карела точно узнал, Левку...

– У тебя есть телефон, позвони им. Может, застанешь дома. Спроси прямо: приходили они к тебе или нет. Выслушай, что тебе ответят. А я пока посижу, покурю.

– У меня бренди есть, – признался я, набирая номер Карела. – Хотите?

– Да мне в общем все равно, – неподдельное равнодушие Димы показалось мне самым фантастическим событием этого вечера. – Думаешь, я очень люблю выпивку? Просто, если уж живешь среди людей, проще всего слыть безобидным пьяницей. Я бы и курить не стал, но тебе же будет спокойнее, если я предамся

этому обыденному пороку.

Да, тут мой загадочный сосед был прав: мятая папироса в его негнущихся пальцах произвела на меня самое что ни на есть терапевтическое воздействие, и я сосредоточился на телефонной трубке.

Карел был дома, хотя к телефону подходить сперва отказывался. После длительных переговоров с участием его интеллигентного папы, который, по счастью, не способен грубо послать человека, позвонившего по «чрезвычайно важному» делу, Карел, он же Митя Карелян, все же объявился на том конце провода. Он, оказывается, уже неделю сидел взаперти, ночами не спал, писал некую чудовищную телегу по своей специальности – не то диссертацию, не то просто статью, я так и не понял. Появился шанс отправиться на полгода в какую-то захолустную, зато заокеанскую, лабораторию и пахать там за изумрудно-зеленую валюту в рамках международного обмена учеными обезьянами. Ясен пень, умница Карел зубами вцепился в эту возможность и принялся страстно демонстрировать начальству свое профессиональное могущество; все прочие дела теперь не имели для него значения. Только мешали. «Какой день рождения, Макс, ты гонишь! – сердито ответил он на сбивчивые мои расспросы. – У меня день рождения был в ноябре, я же тебя в “Белом” “Кровавой Мэри” по этому поводу опоил до полусмерти. Забыл?»

Да, действительно забыл. Мало ли, кто, где, чем и по какому поводу поил меня полгода назад... Я оставил матерящегося Карела в покое, адресовал беспомощный взгляд примостившемуся на подоконнике Диме, – дескать, ваша взяла. На всякий случай, как бы делая контрольный выстрел, позвонил еще и Левке, тому самому, который якобы видел, как я входил в свой подъезд. Левки дома не было; впрочем, его жена утверждала, что его вообще нет в городе. Уехал, дескать, в Кишинев за книжками и вином. Звучало правдоподобно: поездки в Кишинев за книжками местного издательства и марочными винами местного же производства были частью Левкиного бизнеса (если это определение подходит для бесконечной череды коротких поездок за товарами и продолжительных запоев, сопровождающих беспорядочную, но вдохновенную торговлю добытым дефицитом).

– Вот черт. По всему выходит, что ребята ко мне действительно не заходили, – резюмировал я. – Даже если предположить, что они решили меня разыграть, Карел просто до дома не успел бы добраться: к нему отсюда даже на такси полчаса, не меньше, а таксиста, который согласится туда ехать на ночь глядя,

еще отыскать надо... Рассказывайте теперь про демонов, я готов.

- А про них и рассказывать особо нечего. Просто прими к сведению: тот, кто впервые берется за ворожбу, должен быть готов к появлению демонов, которые приходят специально для того, чтобы ему помешать, заморочить, а то и напугать до смерти, если получится. Отличить их от людей проще простого. Тот, кто пытается помешать ворожбе, почти наверняка - наваждение; людей в такие минуты обычно калачом к себе не приманишь, чутье у вашего брата все же имеется, и чутье это велит вам держаться от чудес подальше. Справиться с демонами тоже нетрудно, тут важно помнить одно правило: ты - сильнее.

- Правда? - изумлению моему не было предела.

- Правда, - подтвердил он. - Раз уж карты разложились так, что я пришел тебе на помощь, а теперь еще все разжевал, да в рот положил, значит, сила твоя и правда велика. Если всегда будешь начеку, если перестанешь верить собственным глазам и ушам, если на каждую хитрость у тебя найдется ответная, никто не причинит тебе зла.

- А вы-то сами кто, сосед? - нерешительно спросил я, кое-как переварив эту информацию.

- Да так, - неопределенно ответил он. - Можно сказать, никто. Просто постоянный обитатель места, на котором когда-то построили этот дом... Кстати, теперь тебе тут оставаться не следовало бы: после того, как я открыл свои карты, один из нас должен уйти. Только тебе есть куда идти, а мне - некуда.

Признаться, я изрядно растерялся от такого поворота сюжета.

- Мне тоже некуда. Разве, комнату обменять на другую такую же... Но это долго и хлопотно.

- Ищи и найдешь, - пообещал Дима. - Для тебя на этом доме свет клином не сошелся, а мне отсюда уходить нельзя: зачакну. Да и потом ты все равно собирался уехать. Не теперь, так через год-другой. Ты ведь тоскуешь в этом городе.

– Тоскую, ага. Только город тут, наверное, ни при чем. Просто так уж я устроен.

– Ты устроен так, что сидеть на привязи тебе неважоту. Ну вот и не сиди. Договорились? – деловито спросил сосед.

Я машинально кивнул. И он исчез, на сей раз окончательно. По крайней мере, под потолком не объявился, на полу под ковром не распластался тенью и в шкафу не спрятался, – я проверял.

17. Арсури

Оставаться дома после всего вышеописанного было невыносимо. За стеной подозрительно шуршал сосед Дима, оказавшийся какой-то неведомой (возможно, всемогущей) зверушкой. Что касается прочих соседей, теперь у меня и на их счет имелись всяческие подозрения – беспочвенные, конечно, но фантазия-то буйная, что да, то да...

Вдобавок ко всему, я окончательно уверовал, будто темный коммунальный коридор еще недавно был переполнен некими «демонами», успешно мимикрировавшими под моих приятелей; в глубине души я опасался, что они непременно вернуться, как всегда возвращались ко мне незнакомые люди, случайно затащенные кем-то в гости, «на огонек», без особых причин, без маломальски сносного предлога: «проходили мимо», – вот тебе и вся немудреная подоплека визита. В свое время я даже изобрел для такого времяпрепровождения специальный термин «попосидеть»: то есть посидеть, попоздеть и в туалет заодно заглянуть (день долог, пиво мокрое, общественные уборные ужасающие), а потом можно идти дальше. Вот и демоны эти вполне могут вернуться, дабы попосидеть всласть. В провинции, небось, и демоны ценят возможность комфортно убить лишний часок времени...

Встречаться с кем-нибудь из друзей-приятелей я пока не был готов; идея позвонить родителям или сестре и вовсе приводила меня в ужас. Доверия к знакомым голосам и лицам больше не было. Неважно удовольствие сидеть рядом с человеком и терзаться подозрениями: настоящий или подделка?

Прогулка по городу после давешних блужданий по улице Маяковского и поездки на троллейбусе, которого в природе быть не могло, тоже не слишком меня привлекала. Но из всех зол это показалось мне наименьшим. Хвала добрым божествам, на улице был май девяносто второго года, а не, скажем, февраль восемьдесят четвертого. Эта сермяжная календарная истина означала, что на центральных улицах полно народу. Во-первых, потому что тепло. А во-вторых, город уже зажил насыщенной коммерческой жизнью: рестораны и летние кафе работали допоздна (некоторые – так и вовсе до рассвета), павильоны с игральными автоматами не закрывались до последнего посетителя, а в одном из кинотеатров даже устроили экспериментальные ночные сеансы, и народу туда обычно набивалось под завязку, словно бы все эти годы люди мечтали лишь о возможности смотреть кино после полуночи. Мир понемногу менялся, город приучался существовать в круглосуточном режиме. Теперь по ночам таксисты неспешно курсировали по оживленным улицам вместо того, чтобы простаивать до утра у вокзала; влюбленные парочки не прятались по подворотням, а с шиком целовались прямо за столиками кафе; в половине третьего утра роскошные женщины горделиво цокали каблучками по булыжной мостовой, пока их дородные кавалеры закупали мокрые пионы у несущих ночную вахту старушек. Да и милицейские наряды не столько дремали по машинам, сколько сновали по переулкам (сейчас этот, прискорбный, в сущности, факт меня скорее радовал: милиция и наваждения – вещи, как мне почему-то казалось, несовместные).

В общем, если бы пережить такой денек, как сегодня, мне довелось несколько лет назад, я бы, пожалуй, запаниковал. Но теперь дела мои обстояли не так уж скверно. Можно всю ночь бродить по городу, не рискуя остаться в одиночестве. Можно затеряться среди незнакомых любителей ночной жизни, а встретится среди них родной человек или его точная копия – что ж, вот и славно. В леденцово-желтом свете витрин, среди праздных забулдыг, сорвавшихся с цепи студенток и насупленных ментов мне никакой морок не страшен. До рассвета продержусь, благо светает уже очень рано, а там – поглядим.

Так примерно я рассуждал, спускаясь по лестнице. По карманам (иногда я почти уверен, что «карман» и «карма» – однокоренные слова) было равномерно распределено мое скромное состояние; на груди пригрелся захваченный в последний момент паспорт: я уже привык к тому, что являюсь самой подозрительной личностью всех времен. Ни один нормальный мент не способен равнодушно взирать на мою физиономию в темное время суток. Ее вид вызывает у всякого стража общественного порядка страстное желание меня

безотлагательно обезвредить, не знаю уж почему...

Из подъезда я выходил с такими церемониями, словно под лестницей притаилась медицинская комиссия, решившая вдруг пересмотреть свое мнение касательно моей вменяемости. Дряхлый, но пронизательный профессор Гнездушкин, которому я обязан белым билетом, мог бы гордиться своим мудрым решением. Мне искренне жаль, что Валерий Яковлевич не имел возможности наблюдать, как я всматриваюсь в уличную темноту сквозь дверную щель; как, присев на корточки, внимательно изучаю ботинки случайного прохожего, которого черт дернул остановиться напротив подъезда, чтобы закурить; как с облегчением вздыхаю, провожая глазами его спину; как осторожно приоткрываю, наконец, дверь и макаю в ароматную чернильницу майской ночи свой заострившийся от тревоги нос.

Первые два квартала я не шел, а почти бежал. Потом убедился, что ничего не происходит, взял себя в руки, замедлил шаг. Закурил, вытер рукавом вспотевший лоб. Придирчиво оглядел свое отражение в темной витрине ателье мод, остался вполне удовлетворен увиденным. Довольно высокий, довольно худой молодой человек (и рост, и худоба – в пределах нормы, внимания не привлекают, вот и славно). Светлая джинсовая куртка; когда-то ультрамариновые, но уже до голубизны истертые штаны – что ж, могло быть и хуже. В «Парадиз» меня, пожалуй, в таком виде не пустят, и правильно сделают: всех моих сбережений едва ли хватит на самый скромный ужин в глянцево-кооперативном Поднебесье. Зато меня охотно пустят во все остальные места; пустят, и тут же забудут, как я выглядел: в тертой джинсовой униформе ходит полгорода; таких темно-русых, не пойми как подстриженных шевелюр, серых глаз и невнятных носов – тысячи тысяч. Может, и паспорт предъявлять на сей раз не доведется – на фиг я кому-то сдался? Магическая формула «на фиг я кому-то сдался?» – делала меня почти счастливым.

Только-только я расслабился, как мои нервы снова подверглись испытанию, на сей раз – весьма дурацкому. Из-за угла мне навстречу вывернуло матерое человечище мужского пола и, судя по первому впечатлению, чуть ли не школьного возраста. Прелестное дитя передвигалось на четвереньках и хорошо поставленным голосом возвещало: «Я – Луноход-Один! Я – Луноход-Один!» Я содрогнулся.

Если бы этому эпизоду не предшествовала вся совокупность моего свежеприобретенного опыта, я бы, конечно же, заржал. После того, как из-за

угла показался еще один «четвероногий», скандирующий: «Я – Луноход-Два!», – я бы, пожалуй, начал похрюкивать, а в момент столкновения с «Луноходом-Три» (в белых, между прочим, штанах!) я вполне мог бы вывихнуть скулу. Но сейчас я оцепенел. В ушах у меня звенело, земля уходила из-под ног. Больше всего на свете мне хотелось развернуться и побежать, но колени были ватными, а в ступни словно бы впрыснули по ампуле новокаина: я только теоретически знал, что они у меня есть.

Их оказалось восемь, этих «луноходов». Моя персона их чрезвычайно возбудила: вместо того, чтобы ползти дальше, они принялись мельтешить вокруг меня, дружным хором заявляя о своем межпланетном предназначении; только порядковые номера «луноходов» не совпадали и потому сливались в некое магическое число «одисемь». Я бессмысленно таращил глаза на эту карусель, благо рассудок срочным порядком закрылся на профилактику.

В довершение всех бед из-за угла вышли еще пятеро. Эти оказались прямоходящими юнцами в недурных, к слову сказать, костюмах. Они шествовали за своими товарищами с каменными лицами индейских вождей, а теперь остановились и принялись разглядывать меня, оказавшегося в центре безумного хоровода. Позже я узнал, что таковы правила игры: тот, кто не выдержит и засмеется, должен пополнить команду «луноходов», и лишь самый невозмутимый будет признан победителем. Но пока правила игры были мне неведомы, поэтому волосы на моей шее зашевелились от ужаса. Я был совершенно уверен, что именно так и проводят свой досуг пресловутые «демоны». И решил сдуру, будто мне конец.

И тогда какой-то дремучий инстинкт подсказал мне, что единственный способ выжить среди чужаков – это быстро притвориться «своим». Я грохнулся на четвереньки, взвыл: «Я – Луноход-Девять!», – и шустро пополз к проезжей части. Невозмутимая доселе компания прямоходящих взорвалась смехом.

Когда они заржали, я сразу понял, что никакие они не «демоны», не наваждения, не плод моего больного воображения. Нормальные пацаны, выпили, небось, по бутылке пива второй раз в жизни и резвятся теперь, ставят на уши участок реальности в радиусе двухсот метров от эпицентра теплой своей компании, делов-то!

«Луноходы» тоже ржали, опрокинувшись на задницы для большей устойчивости. «Теперь вы луноходы, теперь ваша очередь», – наперебой твердили они своим

товарищам. «Это не считается, он был не в игре», – дружным хором возражали те, все еще давясь остатками хохота. Я присел на бордюр, с неподдельным интересом прислушиваясь к их спору.

– Ты-то чего? – наконец спросил меня один из потенциальных «луноходов», морковно-рыжий, в сером костюме.

– А вы чего? – парировал я.

– Мы-то играли, а ты просто по улице шел.

– А я люблю играть в чужие игры, – объяснил я, поднимаясь на ноги. Движение это доставило мне неизъяснимое удовольствие, тело пело от счастья, осознав, что мною же самим сочиненная опасность внезапно миновала.

– Хочешь – присоединяйся, – предложил мне «луноход» в белых штанах. – Сейчас их очередь ползти, ты их рассмешил.

– Да нет, с меня, пожалуй, хватит, – решил я. И полюбопытствовал: – Что празднуем-то?

– Празднуем? А, ну да, у нас «последний звонок» с утра был.

– Вот оно что. Ну, удачи!

Я помахал им рукой и отправился дальше. Встряска пошла мне на пользу: настроение исправилось, давешний страх перед всем на свете куда-то подевался, метафизическая неопределенность моего положения кружила голову. Сейчас я, пожалуй, не отказался бы от приключения-другого. Слова Оллы: «У тебя все будет в порядке, лучше, чем ты сам себе мог бы пожелать», – вдруг проявились в памяти и теперь звенели в ушах. Жизнь определенно налаживалась. Я даже замурлыкал что-то себе под нос: фальшиво, но задумчиво.

До улицы имени мумии я в эту ночь так и не добрался.

Все потому, что мне на глаза попало симпатичное кафе, где часть столиков была помещена не на тротуар у входа, а выставлена на открытой веранде под полосатым (зеленое, розовое, белое, опять зеленое) тентом. Кафе имело наглость именоваться «Венским»; такое самозванство скорее подкупало, чем раздражало. Вероятно, сей островок европейского уюта открылся совсем недавно: этот переулок я пересекал чуть ли не ежедневно и твердо знал, что до сих пор единственным увеселительным заведением здесь мог с некоторой натяжкой считаться магазин детского питания, где по утрам тусовались юные мамочки, изнывающие от тягостного однообразия своего нового образа жизни. А вот кафе, ни «Венского», ни «Парижского», ни даже «Урюпинского» какого-нибудь, тут до сих пор отродясь не было.

Я люблю обживать новые забегаловки; в последнее время деньги, которые мне удавалось заработать, уходили почти исключительно на поддержку нарождающегося кооперативного общепита. К тому же настроение у меня после давешнего столкновения с «луноходами» было приподнятое, хвала отечественной космонавтике! Ясное дело, я обосновался на пустой веранде, возле открытого окна, из которого сочились аппетитные запахи и приглушенные голоса. Достал из кармана сигареты, приготовился ждать барышню с меню.

Я расположился таким образом, что декоративная ажурная ставня скрывала меня от посетителей, устроившихся в полутемном зале кафе. Я, впрочем, тоже их не видел, зато акустика здесь была прекрасная.

Это – одно из моих хобби: обожаю подслушивать болтовню незнакомых людей, которые не подозревают о моем присутствии. Не то чтобы я действительно интересовался чужими делами, да и что можно уяснить об этих самых делах, суммируя случайные обрывки фраз? Увлечение мое скорее сродни безобидному коллекционированию: вырванные из контекста беседы, фрагменты разговоров порой оказываются уморительно забавными или причудливо переплетаются с моими собственными сиюминутными размышлениями, а иногда звучат чуть ли не пророчески.

Вот и сейчас я прислушался к голосам, долетавшим до меня из помещения. Почти сразу же выделил два, мужской и женский. Их обладатели сидели совсем рядом со мной, вероятно, возле самого окна или в нескольких шагах от него. Уши мои затрепетали: это явно была не деловая беседа, не светский гон и, тем паче, не любовное воркование. Это было... это было так странно!

– Ты же знаешь, Франк обожает таскать за собой непосвященных, – вкрадчивым шепотом говорила женщина. – Просто людей с улицы. Уводит на ту сторону и там бросает на какое-то время. Затаится и наблюдает исподтишка: выплывет, не выплывет...

– Но это же свинство, – резко констатировал мужчина.

– Свинство? Не знаю. Может быть. Но... С другой стороны, это прекрасно. Это – шанс.

– Угу. Шанс умереть более экзотическим способом, чем это обычно случается. Шанс угодить в психушку. Ты была когда-нибудь в нашей Катерининке? Найди предлог, зайди, полюбуйся. Это пострашнее, чем Тупиковый Путь... Наверняка там полно приятелей Франка. Возможно даже, их собрали в одном отделении, по принципу схожего бреда...

Тут мне пришлось ненадолго отвлечься, поскольку мое присутствие было наконец обнаружено некими загадочными повелителями местных материальных благ. Из темноты выпорхнула юная официантка, состоявшая, кажется, почти исключительно из ног и ресниц: и то, и другое радовало глаз фантастической длиной. Молча протянула меню – неужели почувствовала, что я страстно желаю оставаться незамеченным?

Впрочем, содержание толстого тома в твердом зеленом переплете заставило меня на время позабыть о странном диалоге за окном. Цены здесь были более чем щадящими, а выбор потрясал воображение. В списке коктейлей обнаружился даже джин-тоник – по нынешним временам это нормально, но в начале девяностых, да еще и на расстоянии чуть ли не полутора тысяч километров от Москвы, о джин-тонике можно было разве что почитать в переводных детективах. Там его, конечно, были моря разлитые, хватало не только на центральных персонажей, но и эпизодическим доставалось. Теперь в шкуре такого «эпизодического персонажа» мог оказаться я сам. С ума сойти!

Я молча показал длинноногой фее открытое меню, выразительно постучал пальцем по строчке, сулящей мне прохладную смесь хининовой горечи и хвойного аромата. Она понимающе кивнула и ушла, оставив меню на столе, дабы я мог в уединении наслаждаться содержанием этого выдающегося литературного произведения. Я открыл его наугад и прочитал: «Салат из авокадо с креветками». Креветки всегда казались мне пищей богов, но вот «авокадо» – что за зверь такой? Я озадаченно покачал головой. Однако знакомый голос оторвал меня от приятного чтения: теперь снова говорила женщина, взволновано, а потому довольно громко. И не хотел бы я ее слушать – пришлось бы. Но я-то как раз хотел...

– А ты представь себе на минутку, что ты – обычный человек. Живешь словно в скучном сне, ходишь туда-сюда по кругу, как цирковая лошадь, самое мистическое событие в жизни – чтение ксерокса «Камасутры», а жить тебе осталось всего-то лет тридцать-сорок, не больше, хотя тело уже сейчас можно бы выбрасывать на помойку, не глядя... Но примерно раз в год ты случайно поднимаешь глаза к небу, видишь там полную луну и едва сдерживаешь желание завывать по-собачьи от тоски, а о чем тоскуешь – и сам не знаешь, да и не узнаешь никогда...

– Ну тебя, – почти сердито откликнулся мужчина. – Ты сначала думай, а потом говори. Я же все-таки ем...

– А я хочу, чтобы тебя проняло. Чтобы ты вспомнил, как люди живут. Чтобы на шкуре своей это прочувствовал.

– Считаю, что уже прочувствовал.

– Да? Ладно, поверю тебе на слово. А вот теперь представь, что в одну из таких редких ночей, когда твое сердце оплакивает несбывшееся, а глупая голова предпочитает думать, будто это обычная депрессия, появляется наш Франк и говорит: «Ну что, пошли на небо?» Он ведь силой никого за собой не тащит, не забывай. Сами идут, как миленькие. И ты бы пошел, и я бы за ним пошла, даже если бы знали, чем это все может закончиться... А сколько таких несчастных всю жизнь ждут своего Проводника! Но Франк один, да и стих на него нечасто находит... А жаль.

– А с какой стати ты меня вообще уговариваешь? Ты же знаешь, я Франку не владыка, мешать я ему не стану, да и невозможно ему помешать... Это спор ради спора? Все еще хочешь меня победить? Но ведь мы уже давно не соперники.

– Не соперники, – соглашается женщина, и я чувствую, что она улыбается. – И это не спор ради спора. Ты меня невнимательно слушал. Все было сказано лишь затем, чтобы завершиться фразой: «Жаль, что Франк один такой».

– Ты собираешься заняться тем же? Таскать за собой непосвященных? Дело хозяйское, конечно, но...

– Не говори ерунду. Я не подхожу для этой роли; общеизвестно, что я – скверный Проводник. Мое дело – ходить туда, где никто из наших еще не бывал. И хожу я туда одна или с тобой, ты ведь знаешь... Ты все про меня знаешь.

Моя фея вернулась, принесла длинный узкий стакан. В прозрачной жидкости плавали кубики льда, соломинку венчала лимонная долька. Она бесшумно поставила стакан на столик, рядом положила чек. Я полез в карман за деньгами, но она уже ушла: видимо, я не был похож на человека, способного удрать, не расплатившись. По большому счету, впечатление сие обманчиво, но из этого кафе я убежать не собирался – еще чего! Я был твердо намерен стать его завсегдатаем.

Я сделал первый в своей жизни глоток джин-тоника и вознес хвалу щедрым небесам, которые наконец потрудились излить на меня концентрат благодати. Это было здорово: найти свой напиток почти так же трудно, как встретить свою женщину. С пунктом номер два у меня пока ничего не получалось (впрочем, я не сетовал на судьбу: в таком деле процесс поиска весьма увлекателен сам по себе); зато пункт номер один был, наконец, осуществлен. Только что. Я расплылся в блаженной улыбке, закурил... и обругал себя последними словами. Теперь эти загадочные ребята в зале обнаружат мое присутствие и умолкнут. Или просто пересядут подальше: я сам на их месте именно так бы и поступил.

Голоса их, впрочем, умолкли несколько раньше, чем вспыхнула моя спичка: я машинально это отметил, хоть и был чрезвычайно увлечен дегустацией. А через несколько секунд стало понятно, почему мои загадочные незнакомцы

замолчали: они просто закончили ужинать и собрались уходить. На пороге появилась парочка: миниатюрная белокурая женщина и мужчина средних лет, очень бледный, худощавый, с длинным лошадиным лицом и коротко подстриженной бородкой. Я посмотрел на них, и у меня перехватило дыхание. Впервые в жизни я был совершенно уверен, что встретил своих. «Голос крови» – так, что ли? Описать это ощущение невозможно: оно не было похоже ни на влюбленность, ни даже на симпатию, которая, случается, вспыхивает мгновенно между совершенно незнакомыми людьми. В организме бушевала адреналиновая буря, сердце буравило ребра, огненные молоточки охаживали виски, но на фоне столь экстремальной физиологической реакции я оставался спокойным и счастливым, каким на своей памяти не был никогда. Через несколько секунд стало полегче, однако твердая уверенность в том, что передо мной – свои, оставалась при мне. Странно вообще-то: к людям, особенно незнакомым, я, как правило, отношусь с равнодушной настороженностью – это в лучшем случае. Однако сегодня все было странно...

– А этот как тут оказался? – наконец спросил мужчина у своей спутницы, бесцеремонно тыча в мою сторону перстом. – Или он тоже из наших? Но я его не знаю.

– И я не знаю. Может, из наших, может, – нет. Так сразу и не разберешь.

Она подошла ко мне, лучезарно улыбнулась и уставилась на меня с нескрываемым любопытством. В ее манерах было что-то детское, и это «что-то» действовало на меня обезоруживающе. Я не только терпел ее изучающий взгляд, но и был готов по первому требованию встать, покрутиться и даже раздеться, чтобы ей было удобнее производить осмотр.

– А как вы сюда попали? – наконец спросила она. Никаких там «извините, пожалуйста», «позвольте полюбопытствовать» или «не-мог-ли-бы-вы-мне-сказать», – однако ее манеру обращаться нельзя было счесть невежливой, столько в ее голосе было неподдельной доброжелательности.

– Просто шел по улице, – растерянно объяснил я. – Вижу: новое кафе появилось. Поднялся по ступенькам, сел на веранде. Ничего особенного. А почему вы спрашиваете? – тут меня осенило, и я понимающе выпалил: – Вы – хозяйка этого кафе, и вам интересно, как работает реклама?

Сказал эту чушь вслух и сам понял: идиот. Нет ничего глупее, чем объяснять невозможные вещи, цепляясь за обыденные конструкции: только ногти сорвешь, ерундой занимаясь. Прекрасная незнакомка, однако, не стала меня высмеивать, хоть и следовало бы.

– Да нет, – говорит, – как работает реклама, мне как раз не слишком интересно. Мне интересно, как вы смогли зайти в кафе, которого не существует. Оно могло бы быть, если бы некоторые обстоятельства сложились иначе. Но они сложились как сложились, поэтому никакого кафе тут нет. А это – она сделала плавный жест рукой, как бы лаская воздух в метре над полом веранды, – всего лишь неосуществленная вероятность. Одна из. Это... Ну, собственно говоря, это и есть несбывшееся.

– Не морочь человеку голову. Для начала ему надо отсюда выбраться, – вмешался ее бородатый спутник. – У тебя есть идеи?

– У меня? У меня нет никаких идей. Но все как-нибудь образуется... Помнишь, кто-то, то ли Рон, то ли Анна, говорил, что человек, лишенный судьбы, способен на все... мы еще тогда никак не могли взять в толк, о чем речь, помнишь?

– Это говорила Анна, – кивнул мужчина. – Но она у нас с приветом...

– Ну и что? В этом ее сила, – пожала плечами женщина. – Эй, а может быть, ты тоже лишился судьбы? – теперь она обращалась ко мне, легко сменив официальное «вы» на невесомое «ты». – Как думаешь, могло такое с тобой случиться?

– Со мной сегодня могло случиться все что угодно, – вздохнул я. – Не далее как час назад я распутывал нитку, символизирующую мою прежнюю жизнь; в это время под дверью скулили демоны, но дух-хранитель дома, принявший облик старого толстого алкаша, их обезвредил, а потом улегся на мой потолок и велел мне убираться прочь из этого города... И это только десятая часть всего, что со мной сегодня случилось.

Сам не знаю, как меня угораздило все это им выложить. Впрочем, оно словно бы само собой рассказало, без моего деятельного участия. Потому ли, что я был уверен, будто оказался наконец среди своих, потому ли, что исповедь помогает бороться со стрессами, или просто джин-тоник мне язык развязал – но даже

умолкнув, я не испытал смутного сожаления о своей болтливости. Напротив, радовался, что у меня хватило духу заговорить о вещах, которые казались мне тогда чрезвычайно важными.

– Ну вот видишь? – белокурая женщина торжествующе подмигнула своему спутнику. – И так бывает.

– Какая у людей жизнь интересная! – его ирония была очевидна, но я не обиделся. Я не смог бы на них обидеться, даже если бы очень захотел.

– Я знаю, что тебе надо делать, – женщина, кажется, испытывала ко мне искреннюю симпатию. – Мы сейчас уйдем, и этого кафе не станет... по правде говоря, я просто не знаю, что будет с этим местом после того, как мы уйдем. Но, скорее всего, оно просто исчезнет, поскольку существует лишь потому, что мы выяснили: оно могло бы быть... впрочем, ладно, это слишком сложно...

– А я куда денусь, когда все исчезнет? – сколь бы диковинными не казались мне ее речи, но мой инстинкт самосохранения – это нечто. Он работает, даже когда я сам не гожусь ни к черту.

– Хороший вопрос. Ответ на него можно получить лишь экспериментальным путем. Но я бы не советовала – без подготовки-то... Нет, ты сейчас сделаешь вот что. Ты закроешь глаза и побежишь, и...

– И грохнусь мордой на асфальт не позже, чем через полторы секунды. Тут же ступеньки, – укоризненно заметил я.

– Прежде, чем давать столь экзотические инструкции, следует предупреждать, что их точное исполнение – единственный шанс выжить, а промедление смертельно опасно, – бесстрастно заметил мужчина. Он демонстративно обращался к своей спутнице, но, ясное дело, рассчитывал, что я его услышу. И не ошибся в расчетах: я обмер и заткнулся.

– Ну вот, – спокойно продолжила женщина. – Сейчас ты закроешь глаза и побежишь изо всех сил, так, словно за тобою гонится толпа голодных духов. Впрочем, в некотором смысле, так оно и есть... Ты будешь бежать до тех пор, пока тебя не остановит некое внешнее препятствие. Это, конечно, может быть и фонарный столб, в который ты врежешься, но некоторым везет, и они

попадают в дружеские объятия... В момент остановки ты обретешь новую судьбу взамен утраченной. И имей в виду: этот трюк можно проделывать всякий раз, когда пожелаешь сменить судьбу. Он очень эффективный, ты еще удивишься, когда обнаружишь, что судьбу можно менять, как одежду... а можно и чаще.

– Когда я захочу изменить свою жизнь, я могу... побежать? И все? Как это может быть? Слишком просто.

– Просто, да не слишком. Тут требуется безлюдное место, темнота и особое настроение, которое позволит тебе мчаться, сломя голову, с закрытыми глазами, не заботясь о ближайшем будущем, и выкинув из головы эту глупую конструкцию: «мордой об асфальт»... Сейчас-то все просто: ты будешь убегать из зачарованного места. В обычных обстоятельствах тебе нелегко будет решиться, а еще труднее – поймать правильное настроение. Но ты уж постарайся, ладно?

– Океюшки, – согласился я, невольно улыбнувшись.

– Ну, тогда вперед. Выполняй мою инструкцию, закрывай глаза и беги, пока тебя не остановят. Марк редкостный зануда, но он был прав, когда говорил о смертельной опасности. Он вообще всегда прав, таково ужасающее свойство его организма.

– А... мне нельзя просто пойти с вами? – неожиданно для себя самого брякнул я. Понял, что отступить некуда, и торопливо объяснил: – Когда я вас увидел, я понял, что вы «свои», что я должен каким-то образом быть рядом, или просто заодно с вами... хотя до сих пор был уверен, что я всегда сам по себе, и это правильно, но тогда я не подозревал... – тут я окончательно запутался в собственных словах. Некоторые вещи не поддаются вербальной обработке, хоть головой о стенку бейся!

– Можешь не продолжать, мы понятливые. Может быть, ты прав, и мы «свои». А может быть, тебе померещилось, так тоже бывает... В любом случае сейчас тебе нельзя с нами. Тебе бы отсюда ноги живым унести, – сочувственно сказал бородатый.

– Если нам следует быть «заодно», ты встретишь нас в другое время и в другом месте, – добавила женщина. – А если не встретишь – что ж, значит, тебе

по дороге не с нами, а с кем-нибудь еще, или ни с кем не по дороге, как ты и подозревал с самого начала. Все само устроится, потому что все всегда устраивается само. А теперь беги... нет, погоди-ка, обернись сначала, на дорожку. Чтобы лучше бежалось.

Я послушно оглянулся. Здания кафе уже не было. Веранда отчасти тоже канула в небытие: от столика, за которым я сидел, осталось меньше половины, неровный треугольный кусок полосатого тента трепетал над нашими головами; плавная кривая линия среза наводила на дурацкое предположение, что реальность была слизана языком некой гигантской коровы; однако на месте исчезнувшего фрагмента не просвечивало ночное небо с дежурным набором созвездий. Там копошилась живая тьма – не знаю, как еще можно описать то, что я увидел. По сути, там не было ничего, и в то же время более очевидную, плотную, динамичную и глубокую субстанцию, чем это самое «ничего», вообразить невозможно.

– Хватит любоваться, беги отсюда. Уноси ноги, пока тьма добрая. Беги. Беги же! – последние слова взвились пронзительной визгливой нотой, огненными буквами отпечатались перед моим внутренним взором, тонкими иглами вонзились под ногти; я зажмурился и рванул вперед, как пришпоренный скакун.

Пока бежал, я не сомневался, что занят не более и не менее как спасением своей шкуры и прочих упакованных в нее сокровищ. Не то чтобы я обдумал эту идею и счел ее правдоподобной, я просто знал, что смерть рядом... жизнь, впрочем, тоже была рядом, а я – между ними, как младенец, которому лишь предстоит родиться.

Наверное, поэтому я совершенно не удивился тому, что остановили меня именно женские руки. Впрочем, одна из них держала нож, и каким образом я умудрился не нанизать свою тушку на его влажное от чужой крови лезвие, мы оба впоследствии так и не смогли уразуметь...

Ада услышала, как далеко внизу хлопнула дверь подъезда. По лестнице поднимались двое. «Они, – с облегчением подумала Ада, – наконец-то! Они, больше некому! Полночь еще когда была... Все уже дрыхнут».

Полночь действительно миновала. У Ады не было хронометра (приборы, измеряющие время, внушали ей суеверный страх), но ее тело, с наступления темноты пребывающее в напряженной неподвижности, само отмеряло минуты, подобно огромным песочным часам. Холодный песок времени медленно тек по ее позвоночнику, и она сама была сейчас сродни времени: невидимая, неумолимая и неотвратимая. Нечасто ей, нетерпеливой, как младенец, и подвижной, как ртуть, доводилось так долго томиться ожиданием, но игра стоила свеч, овчинка – выделки, дебет сошелся с кредитом, бухгалтерия дала добро, да и таможня не возражала...

Шаги приближались, чуткие ноздри Ады затрепетали от аромата свежей сирени. «Так они цветочки собирали! – с равнодушным сарказмом изумилась она. – Кустики ломали, твари! Любовь у них великая – ну так лежали бы и трахались спокойненько – а растения зачем калечить?!» Впрочем, возмутиться по-настоящему ей так и не удалось: сила была на ее стороне, ситуация – в ее руках, а возмущение – удаль слабого. Шаги тем временем оборвались у двери – у ТОЙ САМОЙ двери, к которой было приковано внимание Ады на протяжении этой непереносимо длинной весенней ночи.

Она выждала еще несколько секунд, позволила юной женщине вставить ключ в замочную скважину, ключу – совершить два полных оборота против часовой стрелки, а дверной ручке – мягко уплыть вниз, повинаясь влажной ладони. Потом времени пришлось сжаться. Ада сумела одолеть девять ступенек за столь ничтожную долю секунды, что влюбленным показалось: она возникла не из темноты лестничной площадки, а из небытия, примерещилась, и сейчас исчезнет, и можно будет войти в дом и выпить чаю с мелиссой, а может быть, даже поговорить об испугавшем их видении... хотя нет, говорить на эту тему, пожалуй, все-таки не стоит...

Прыжок из темноты завершился ударом ножа, который вошел в тело мужчины с упоительной легкостью: отличная точка в конце удачно сформулированной фразы. Ада задохнулась от ликования, когда мужчина ошеломленно прошептал: «Что за дурость!» – и начал медленно оседать на пол. Она засмеялась почти беззвучно: испустить дыхание со словом «дурость» на устах – вот участь,

достойная графомана, все бы они так умирали! Теперь оставалось разобраться с его перепуганной сукой: баловалась она стишками или нет, это ее проблемы. Сука влипла в историю. Просто влипла, так бывает.

«Сука» (сказать по правде, Нина была милой, застенчивой девочкой из хорошей семьи, с классическим консерваторским образованием; жизнь ее до нынешней ночи походила на черновик романа, написанного лишенным воображения, зато добрым и сентиментальным ремесленником) очень хотела закричать, но голос ей отказал, и пошевелиться не удавалось, как в ночном кошмаре – с той только разницей, что не было ни малейшего шанса проснуться.

Существо, появившееся из темноты, ранило (она ни за что не согласилась бы признать, что не «ранило», а «убило») ее «Басика». Именно так она называла красивого, немного меланхоличного (пока дело не доходило до постели) мужчину, полгода назад поселившегося в ее доме, сердце, теле, снах и размышлениях.

Только несколько тягостных секунд спустя Нина поняла, что «существо» было женщиной... и глаза этой женщины обещали продолжение ужаса. По всему выходило, что видеокассеты с ужасиками, стопка которых и сейчас лежала на тумбочке под телевизором, следовало считать длинным-длинным эпиграфом к сегодняшней ночи, а не развлечением, придававшим некоторую остроту спокойному бытию. (Нина и сама сознавала, что встречает каждое утро любопытной улыбкой ребенка, проснувшегося в свой день рождения: ну, какие подарки ждут меня сегодня? – и никак не могла понять, почему жизнь, немилосердная к прочим, столь великодушна к ней. Хотя одно подходящее, как ей казалось, объяснение все-таки существовало: в глубине души Нина полагала, что она «хорошая девочка», а с «хорошими девочками» не случается ничего, кроме ежедневных походов за мороженым.)

– Давай, заходи домой, соска, – спокойно сказала женщина. – Нефиг топтаться в подъезде.

Нина не обратила внимания на грубое обращение; она почему-то испытала облегчение, решила, будто слова означают, что дела на сегодня закончены, а значит, ужаса не будет, по крайней мере, не будет настоящего ужаса. Они просто поговорят, и пускай эта женщина говорит ей все, что захочет, любые гадости, если ей так нужно. Может быть, она потом успокоится, или еще лучше: поймет, что натворила, и расплатится, и позволит вызвать врача, который спасет

«Басика», а потом она, Нина, будет ходить к нему в больницу, а квартиру они быстро сменят, или даже вовсе уедут в другой город, и эта ужасная женщина никогда их не найдет; ее, сумасшедшую, вообще посадят в тюрьму за покушение на убийство или запрут в клинику, где ей и место, и все будет хорошо...

Эти размышления почти успокоили Нину, по крайней мере, она поняла, что уже вполне может закричать, позвать на помощь соседей; голос послушается ее, и рот не будет открываться беспомощно и бесшумно, как у аквариумной рыбы, пожизненной узницы человеческих представлений о домашнем уюте.

Ада почувствовала перемену в ее настроении и коротко сказала:

– Квакнешь – убью сразу. Пока соседи будут решать, стоит ли выглядывать на твой вой, я успею не только на другой конец города уехать, а пешком в Париж уйти. А так... Может, и выживешь, я пока не решила. Давай, занеси его в дом.

– Как? – тупо переспросила Нина. Собственный голос испугал ее: это был надломленный голос женщины, попавшей в беду, а не тихий мелодичный голосок «хорошей девочки», которой ей так нравилось быть...

– Херак! – передразнила незнакомка и небрежно пнула Нину носком тяжелого армейского ботинка (Нина недолюбливала такие ботинки и не доверяла людям, которые их носят, а уж женщины в подобной обуви всегда вызывали у нее отвращение, смешанное с испугом, – выходит, не зря). Удар был не слишком болезненным, он скорее походил на повелительный жест, чем на начало избиения. Нина подумала, что такими беззлобными, но рассчитанными ударами мясники загоняют свиней на бойню... мысль оказалась настолько дикой и точной, что разум почти оставил ее, она не могла (не хотела, не решалась) бороться, и склонилась над телом своего любимого мужчины, чтобы перетащить его в коридор их общей уютной квартиры, как велела эта ужасная женщина.

Ада молча наблюдала за ее попытками сдвинуть мертвеца с места. Минуту спустя, она с досадой констатировала, что сцена затягивается, и тихо сказала:

– Ты давай, шевелись, а то я решу, что проще уложить тебя рядом. Жить-то хочешь, небось, сука тупая?

Нина послушно заторопилась, напряглась и втащила тело в коридор.

– Как же вы все... цинично предсказуемы! – усмехнулась Ада, входя следом.

«Все кончено, – подумала Нина. – Все кончено, потому что меня сейчас будут убивать. Здесь, прямо на этом половичке. Убивать. Меня. Будут. Сейчас», – твердила она себе, и вдруг обнаружила, что страх покинул ее, осталась лишь растерянность, но и та понемногу проходила. Терять-то больше было нечего. Жизнь закончилась, уже закончилась, и единственное, что можно было сделать... впрочем, сделать нельзя было ничего в любом случае.

20. Аушаутс

А потом случилось нечто невероятное. Дверь в глубине коридора распахнулась настежь, и из Нининой спальни выскочил незнакомый мужчина. Растрепанный, в застиранной добела джинсовой куртке, глаза зажмурены, словно он собирался безотлагательно сыграть с ними в «слепого кота», – а истекающие кровью тела, убийства и прочие скучные вещи могут немного подождать, не так ли?

Нина видела его впервые; впрочем, это как раз неважно: сейчас она, пожалуй, не узнала бы и бывшего однокурсника; она и на родителей своих смотрела бы, наверное, с ласковым недоумением, тщетно пытаясь понять, кого напоминают ей эти славные люди. Все пустое, значение имело только одно: из ее спальни, словно по волшебству, выскочил посторонний человек. Он оказался в коридоре именно в тот момент, когда ей стало окончательно ясно, что помощи ждать неоткуда – и вот, вдруг... Нина умиротворенно сказала себе, что это явился ангел-хранитель, чтобы спасти ее жизнь; спустился, наконец, с небес, пусть даже с изрядным опозданием, и теперь ответственность за дальнейшие события – на нем. А она, Нина, умывает руки.

Терять сознание было чертовски приятно, приятнее даже, чем пробуждаться от кошмарного сна. Ее тело обмякло, но губы напоследок растеклись в торжествующей улыбке. Она знала, что придет в себя только после того, как за кошмарной женщиной закроется дверь. В этот последний блаженный миг

перед наступлением тьмы Нина знала и многое другое: все как бы (словно бы, будто бы – ах!) уладится; скорая помощь приедет по ее вызову вовремя, и врачи будут удивляться чудесному спасению раненого; а она, главная свидетельница преступления, не сможет вспомнить, как выглядела нападавшая: в памяти не останется ничего, кроме тяжелых ботинок, но и о них Нина почему-то промолчит, не решится рассказать седому усатому следователю с глазами больной дворняги – вот так-то... «У девочки шок», – да, именно. Шок. А потом она будет круглосуточно дежурить у постели своего любовника, поставит на уши полгорода, но добудет все необходимые лекарства, импортный перевязочный материал, греческий коньяк для хирурга, итальянскую косметику для сестер милосердия и еще кучу какой-то жизненно важной муры, но когда он (уже не «Басик», а просто Богдан) встанет на ноги, Нина поспешит от него отделаться, уйдет к другому, первому, кто подвернется. Не потому даже, что с прошлым связаны такие уж невыносимые воспоминания (невыносимых воспоминаний вообще не бывает, невыносимым может стать только настоящее), просто – теперь она знала и это – для того, кто попробовал смерть на вкус, бывшие привязанности не имеют никакого значения, что бы он сам об этом ни думал. И еще Нина знала, что с «хорошей девочкой», которой она была до сих пор, покончено. Именно эта девочка погибла сегодня от руки убийцы, а больше – больше никто. Что ж, она еще дешево отделалась. Как там говорила красивая Терехова в пьесе Лопе де Вега, которую чуть ли не еженедельно крутят по телевизору: теряют больше иногда...

Вот именно.

Что же до незнакомца, он достался Аде. Та не успела опомниться, как мужчина оказался в ее объятиях, еще немного, и они оба грохнулись бы на пол; при этом затылку Ады грозило опасное соприкосновение с порогом. Но Ада устояла. Она была очень сильной, хотя никогда не старалась закалить свое тело. Просто таким уж оно родилось на свет: жестким, упругим и мускулистым. Повезло.

Пока Ада удерживала равновесие и поспешно решала, что делать со свалившимся на нее свидетелем убийства (его не могло тут быть, потому что его быть тут не могло!), он открыл глаза, посмотрел на нее и улыбнулся. Улыбка эта, столь неуместная в данных обстоятельствах, показалась ей чудом. Поэтому Ада безвольно опустила руку с ножом и тихонько спросила:

– Ты откуда здесь взялся?

– Из одной несбывшейся вероятности, – он говорил нараспев, как сомнамбула. – Я был лишен судьбы, а меня научили, как найти новую. Надо просто бежать, бежать с закрытыми глазами...

– Стоп, – решительно сказала Ада. – Это меняет дело. Ничего не попишешь, пошли отсюда. Только быстро и очень-очень тихо.

Когда они вышли на улицу, ее новый знакомый встрепенулся. «Понимаю, – бормотал он, – теперь понимаю, почему я тут оказался. То кафе, оно было в этом самом переулке, на месте твоего дома...»

– Это не мой дом, – сухо перебила его Ада. – Мой дом далеко отсюда. Очень далеко. Зато машина – вон за тем углом. Поедешь со мной.

– Конечно, – легко согласился незнакомец. – Ты ведь, можно сказать, моя новая судьба – взамен утерянной...

– Да уж. Повезло тебе с «новой судьбой», – ухмыльнулась Ада, отмечая, однако, что ухмылка эта почти помимо ее воли превращается в сочувственную улыбку, а рука сама собой ложится на плечо незнакомца – нежный, дружеский, покровительственный жест. «Хотела бы я знать, от чего именно я его спасаю, – думает она. – Но спасаю, это точно...»

21. Афина

Ада, Ада... Глаза серые, круглые, волосы взъерошены как перья, острые локти, тяжелые бедра. Рот кривится улыбкой: правый уголок вверх, левый – вниз. Ходит кругами по комнате, ступни утопают в тумане, словно бы невидимом, но для меня почти осязаемом почему-то... Голос резкий, каждое слово рыболовным крючком вонзается в виски. Невыносимое существо!

– Все просто: я убиваю тех, кто уничтожает дух поэзии. Поскольку, выбирая жертву, я не могу полагаться на собственные пристрастные суждения, я убиваю

лишь тех, кто пишет стишки на заказ, будь это любитель, рифмующий корявые строчки ко дню рождения тещи, или профессионал, слагающий оду на восшествие очередного мудака к вершинам государственной власти... А этот идиот дал рекламное объявление в газету: «Пишу стихи к свадьбам, юбилеям и другим торжественным событиям. Качественно, недорого». Домашний телефон прилагался к объявлению; выяснить адрес – проще простого. Такие дела, Макс, такие дела...

22. Ахтиа

– Почему ты его убила, мне более-менее понятно, – вздохнул я. – Девушку-то зачем было мучить?

Она молчала. Внимательно рассматривала свои маленькие, почти детские руки с коротко остриженными круглыми ноготками. Наконец подняла на меня глаза, мрачные, как дождливый Апокалипсис.

– А вот не знаю. Противная она была какая-то. Блеклая, сладкая, никчемная. Настоящая Хорошая девочка, с большой буквы «хэ»... Наверное, мне просто нравится мучить людей. До сих пор не нравилось, а теперь вдруг понравилось. Что, конечно, хреново. Думаю, это была моя последняя охота.

Я вопросительно поднял брови.

– До сих пор я вела бессмысленную и безнадежную, но священную битву. Я не получала никакого удовольствия от этих убийств. По природе своей я не убийца и тем более не садистка. Вернее, не была таковой прежде. Теперь все иначе. Значит, пора остановиться. Потакать своей жестокости, прикрываясь интересами духа поэзии, – что может быть омерзительнее?!

Бред. Трижды бред. «Дух поэзии», понимаете ли...

Теоретически все, что она говорит, – ужасно, и мне бы положено не нежиться, свернувшись калачиком под леопардовым пледом Ады, а судорожно обдумывать план побега. Но мне не хочется никуда бежать. Мне хорошо в ее квартире-студии под крышей черт-знает-сколькoэтажного дома на северной окраине города. Я слаб, как новорожденный котенок, которого к тому же еще и топили – неумело, в несколько приемов, – но так и не довели дело до конца. Я знаю себя: теперь мне нужны, как минимум, сутки, чтобы оклематься. А здесь, у Ады, тепло, уютно, спокойно, мой папа сказал бы «как у бога за пазухой». Именно то место, где можно медленно, с наслаждением приводить себя в норму. И еще...

И еще. Меня не покидает ощущение, что в моей жизни теперь все правильно – наконец-то! Рядом сидит серийная убийца, только что отмывшая в кухонной раковине лезвие своего ножа, а я ничего не могу поделать с ощущением, что эта кошмарная женщина – самый близкий и родной мой человек, потому что нас всего двое сейчас на этой планете, а больше и нет никого. И это прекрасно.

Она все чувствует. Знает, что я – не враг, но и не жертва. Больше Ада обо мне пока не знает ничего. Но для начала вполне достаточно.

– Думаю, тебе надо выпить, – тоном лечащего врача сообщает она. – Мне, впрочем, тоже. Сейчас будет грог. С лимоном. Это клево, вот увидишь.

На плите свистит изумрудно-зеленый чайник гэдээрoвских кровей – неземной красоты вещь. Ада рыщет среди кухонных полок. С одной берет пакет с чаем, с другой – две большие стеклянные кружки; откуда-то извлекает бутылку – ух, ни фига себе! – кубинского темного рома. Заваривает чай, наполняет чашки, щедрой рукой доликает туда ром. Лимон режет пополам (ага, тем самым ножом, но мне плевать), выжимает сок – напиток богов готов.

Пробую грог. Свежеприобретенная судьба нравится мне все больше.

– Приготовление такого напитка приравнивается к спасению жизни. Теперь я твой должник.

Она серьезно кивает, усаживается на корточки перед диваном, обремененным моим, обмякшим после трудного дня, телом, внимательно рассматривает мое лицо.

– Все бы хорошо, – говорит, – но знаешь, Макс, ты похож на привидение. Какой-то ты... ненастоящий. Выдумка, не человек. Но не моя выдумка. Чья же? Ты кто вообще?

Господи, и эта туда же!

– Мне сегодня уже говорили то же самое, – вздыхаю я. – И мне до сих пор кажется, что это – полная ерунда...

– Кто тебе такое говорил?

И я рассказываю ей про Оллу. Медленно, вспоминая мельчайшие детали, которые я вообще-то не склонен замечать. Про маки на чайнике, про лазурный цвет и необъятные размеры доставшейся мне чашки; кажется, я даже наш диалог с гадалкой воспроизвожу наизусть, слово в слово.

Ада уселась на пол по-турецки, спину держит прямо, руки неподвижно застыли на бедрах – скульптура, не человек. Она слушает меня – боже, как же она слушает! Алчно впитывает слова, так пересохшая земля поглощает скудную милостыню дождя.

– А потом ты ушел от нее. И что было дальше? – взволнованно спрашивает Ада, когда отчет о моем визите к гадалке подходит к концу. Ее глаза сияют, как у ребенка, которому рассказывают – не сказку, нет – чудесную, но подлинную историю из жизни взрослых; историю, которая когда-нибудь, возможно, случится и с ним.

Я рассказываю дальше, все по порядку. Я говорю долго, очень долго, но за окном по-прежнему чернильная гуща неба, и никаких перемен. Часов в этом доме, кажется, нет; да и мои остались дома, а рассвет все не наступает, хотя пора бы ему... И тут я понимаю, что рассвет не наступит, пока мы не наговоримся. Потому что на рассвете нам следует заснуть: увидеть друг друга при свете дня мы оба еще не готовы (почему, бог весть, но солнечные лучи опасны для юной тайны, заложенной в фундамент наших отношений). Я откуда-то знаю, что здесь, в комнате Ады, течет наше время, ручное, послушное, готовое если не исполнить все пожелания, то, по крайней мере, считаться с насущной необходимостью. Я не удивляюсь. Принимаю это знание как должное – почему нет? Чем это чудо хуже прочих?

История моя наконец иссякла. Я опускаю голову на руки, с благодарным изумлением понимаю, что сейчас, наверное, засну, и буду спать... Сутки, не меньше. Этот срок подсказывает воображению измученное тело.

Но откуда-то издалека доносится до меня вкрадчивый голос Ады:

- И как ты теперь собираешься жить - после всего, что сегодня случилось?

- Это нечестно, - бурчу. - Слишком каверзный вопрос для спящего.

- Я спрашиваю не затем, чтобы услышать ответ, а для того, чтобы ты сам его услышал. Сон - хорошее место для того, кто ищет ответ на каверзный вопрос. Потому что там можно найти все, что угодно, - назидательно говорит она.

Я уже не могу отвечать, я только думаю на митьковский манер: «Ада, сестренка, дык елы-палы!»

Она, вероятно, может теперь читать мои мысли: ее тихий смех настигает меня на шатком мостике между сном и бодрствованием. Я бы и рад обернуться, но сон уже устал меня ждать, и сам движется мне навстречу...

23. Ах-пуч

Я сплю, и мне снится давешняя поездка на троллейбусе с улицы Маяковского. Это один из тех настораживающих снов, когда, с одной стороны, отдаешь себе отчет, что спишь, а не бодрствуешь, но с другой - прекрасно знаешь, что это, в сущности, не имеет значения: опасности здесь не менее реальны, чем наяву, да и проблемы столь же неразрешимы. Просто логика немного иная, а бэкграунд куда более пластичен и переменчив, чем статичный контекст повседневности - вот и все.

В текущем сновидении, например, я знаю, что троллейбус следует в Нижний Город. Сейчас мое сознание словно бы заgroundовано толстым слоем невнятной, но достоверной информации о конечной цели маршрута – в точности так же наяву я знаю о существовании любой из городских окраин. То есть я в общих чертах представляю, куда еду, и само по себе это место не является для меня чем-то фантастическим.

За окном темно, но и это меня не смущает. Не потому, что я привык к ночным прогулкам (это наяву я к ним привык, а здесь – еще неизвестно, как обстоят дела), а просто потому, что сейчас для меня само собой разумеется, что все поездки в Нижний Город всегда происходят в темноте. Это – нормально. Хуже другое: я знаю, что прежде, чем мы достигнем цели, будет остановка под названием «Мастерские». Очень важно не выйти на этой остановке по рассеянности или повинувшись внезапному порыву, потому что Мастерские – опасное место. Здесь меня уже однажды убили (наяву я об этом не помню, а сейчас вот вспомнил), и смерть эта была не слишком похожа на безобидный ночной кошмар. Если бы в момент моего рождения похмельная акушерка не брякнула в ответ на беспокойные мамины расспросы, что у мальчишки, дескать, как у кошки, девять жизней (еще одна подробность, которой я не знаю наяву), сейчас, пожалуй, некому было бы смотреть этот мой сон. Но старая ведьма нечаянно сделала мне царский подарок. Девять жизней – не так уж много для человека, которому снятся сны, подобные моим, но лучше, чем одна. Гораздо лучше.

Опасения мои тем временем сбываются. Троллейбус не просто подъезжает к остановке «Мастерские» (даже сейчас, в этом сне, я не знаю, что там мастерят, и боюсь об этом задумываться); он тормозит у столба, на котором прибитая самая обычная табличка с номером маршрута и расписанием движения, только вот надписи эти давным-давно истерлись до состояния петроглифической ряби. Бесстрастный голос в динамике сообщает, что троллейбус дальше не пойдет. Меня просят освободить салон. Я содрогаюсь, но выхожу: невозможно послушаться.

За дверью меня ждет глухая ночь; на этой безымянной улице лишь одно молочно-белое пятно света, оно омывает автомат с газированной водой, и я устремляюсь туда. Свет притягивает меня, как бессмысленного мотылька: хоть и знаю я, что этот островок безопасности – ломтик бесплатного сыра в мышеловке, но знание сие остается сугубо академическим, мои действия никак от него не зависят.

У автомата с газировкой меня уже ждут. Высокий силуэт в длинном, наглухо застегнутом плаще; из-под широкополой шляпы на меня взирает почти обезьянье курносое лицо с глубоко посаженными печальными глазами (оно обладает карикатурным сходством с черепом, но все же это не череп – и на том спасибо!)

– Хочешь газировки? – приветливо спрашивает незнакомец.

Я мотаю головой. Меня бьет крупная дрожь. Но он протягивает мне стакан с водой, и я послушно беру подарок. Пузырьки газа шипят на губах, щекочат нёбо, но проглотить воду мне не удастся. Мой опыт свидетельствует, что почти невозможно бывает сделать хоть глоток во сне, про который знаешь, что это – сон; вот и сейчас ничего не получается. Незнакомец испытующе смотрит на меня из-под шляпы. От тяжести его взгляда я окончательно теряю контроль над собой и захлебываюсь прозрачной звонкой жидкостью, можно сказать, тону в одном глотке газированной воды...

24. Ацаны

Ада разбудила меня. В комнате все еще темно, но сейчас темнота мне нравится. Уютный, ручной, ласковый мрак – застрять бы навсегда в этой майской ночи, как в капле смолы, честное слово, я бы не возражал!

– Все не слава богу, – вздыхает она. – Ты что, Макс? Хрипел так, словно окочуриться собрался. Что с тобой? Ты не колешься, часом?

– Семь, – говорю я, едва ворочая онемевшим языком. – Или семь с половиной. Все же я не доумирал до конца...

Я еще не понимаю, что мое бормотание кажется ей бредом; я пока действую в рамках иной, сонной, логики, где чужие мысли очевиднее собственных, а слова нужны лишь для исполнения какого-то древнего ритуала, смысл которого темен и невнятен, но необходимость не вызывает сомнений...

- Чего-о-о-о? – встревоженно тянет Ада. – Какие «семь с половиной»?!
- Семь жизней у меня осталось, – говорю. – Когда я родился, было девять.
- Как у кошки?
- Ага.
- И когда ты успел две из них растронжирить?
- Во сне, – отвечаю, – дурное дело нехитрое...

Я окончательно просыпаюсь и отмечаю про себя, что она теперь одета по-домашнему. Алый свитер с растянутыми рукавами, белые спортивные брюки – этакий аналог пижамы, допускающий, однако, некоторую публичность. Парадный наряд для просмотра снов, уместный в тех случаях, когда в доме ночует кто-то чужой. В темноте студии зияет разобранная постель. Судя по всему, разбудил я хозяйку дома своими кошмарами. Нехорошо вышло, неловко...

Смущенно, заплетающимся языком, рассказываю ей свой сон. Как только речь заходит о Нижнем Городе, Мастерских и прочих топографических подробностях, Ада порывисто хватает меня за руку. Что с нею творится? То смеется, то всхлипывает от полноты чувств. «И ты, – говорит, – и ты тоже там был! Не знаю, правда, при чем тут твой дурацкий троллейбус, – снова смеется, – но это пустяки, все остальное сходится... Значит, все действительно где-то есть! Макс, ты понимаешь? Это все действительно есть – где-то, когда-то, зачем-то, но есть, есть, есть!»

Она уже не говорит, а визжит. Не противно, по-бабьи, а лопаюсь от восторга, как совсем мелкая девчонка, узнавшая, что старшие братья возьмут ее с собой в поход. И я бы хотел разделить ее радость, но...

Положим, тот факт, что где-то есть Мастерские, не приводит меня в экстатическое состояние. От такой перспективы впору под диван ползть – хоть и знаю я с детства, что хреновое это убежище, а все же там как-то спокойнее.

– Кроме Нижнего Города, есть много дивных мест, но все дороги туда идут через Нижний Город, – улыбается мне Ада. – Это такая... магистральная развязка, в своем роде.

Счастье преобразило ее: когда мы встретились, она выглядела лет на тридцать – не то с хвостиком, не то без оногo. А теперь – школьница, да и только; к тому же школьница, получившая первую в своей жизни записку с любовным признанием. Великолепная, всемогущая, уверенная в собственном бессмертии малолетняя дурочка. Чудеса!

– А Мастерские? – мрачно напоминаю я.

– Ерунда. Это что-то вроде пропускного пункта. У меня вон одна жизнь всего, а я не боюсь... Знаешь, почему именно Мастерские? Знаешь, что там мастерят?

– Не знаю и знать не хочу.

– Ну и глупо. Там мастерят... не вздумай затыкать уши! Там мастерят наши с тобой и все прочие жизни: каждую – в нескольких экземплярах. Одна сбывшаяся, остальные – несбывшиеся, про запас. Чтобы было о чем выть зимними ночами, обламывая ногти об оконное стекло... Ты этого не знал, да? Теперь знаешь.

– А меня там убили. Давно, когда я еще в школе учился, и вот только что... Но ты меня разбудила, так что одну жизнь я, наверное, все-таки сэкономил... Не вяжется это как-то с твоей версией.

– Почему? Где жизнь, там и смерть, все логично. Смерти тоже бывают сбывшиеся и несбывшиеся. Ты не понимаешь? Ну, поймешь когда-нибудь...

– Ада, – я стараюсь умерить ее пыл, – это же мой сон. Почему ты знаешь о нем то, чего я не знаю?

– Твой сон? Ха! Не твой, а мой, я с детства живу там. И не от случая к случаю, как ты, а почти каждую ночь там оказываюсь. Потому и знаю о тех местах больше, чем ты... Но до сих пор я думала, что это – только мой сон. Главный из моих снов, но все равно просто сон, морок предутренний, который днем

не имеет значения. А твое свидетельство меняет дело. Как хорошо, что я тебя сюда привезла и уложила спать! Как же удачно все сошлось!

Я смиряюсь. Есть вещи, которые выше моего понимания, но в то же время настолько очевидны, что с ними приходится соглашаться. Просто соглашаться – и все. Так – значит, так, будь по-вашему, со мною очень легко договориться. Иногда, по крайней мере... Если Ада говорит, что мой Нижний Город принадлежит ей, что он изучен ею вдоль и поперек – да будет так. Почему нет? В конце концов, я с детства по-настоящему хотел лишь одного: чтобы со мною случилось чудо. Ну хоть махонькое, хоть самое завалящее, никому не нужное... Вот и получай!

– Расскажи мне про это место, – прошу я, закрывая глаза. – Оно мне редко снится, и я почти ничего не знаю...

– Рассказать тебе сказку? – тихо смеется Ада. – Сказку о волшебной стране, где вечное лето, где без нас, сами собою, проживаются лучшие из выдуманных для нас несбывшихся жизней?

25. Ачуч-пачуч

– О волшебной стране, да, – бормочу я. И вдруг сон снова слетает с меня. – Слушай, – говорю, – получается, что вчера я мог попасть туда... наяву. Потому что я наяву ехал в этом троллейбусе, я же тебе рассказывал: он меня до подъезда довез...

– А вот не специалист я по троллейбусам, – немного сердито говорит Ада. – Я по своим сновидениям пешком хожу, знаешь ли, а на дурацком городском транспорте я там не катаюсь... Наяву, говоришь? Ну, все может быть. Хотя мне всегда казалось, что оказаться там наяву труднее, чем верблюду попасть в Царствие Небесное...

– Пройти сквозь игольное ушко, – педантично поправляю я.

– Что? – моргает она.

– Ты перепутала цитату. В первоисточнике верблюд проходил сквозь игольное ушко, а в Царствие Небесное попадали... – вернее, наоборот, не попадали – богатые.

– А, ну да, – рассеянно улыбается Ада. Мыслями она сейчас где-то далеко, там, где нет ни меня, ни верблюдов, ни игольных ушек, ни ущемленных в иммиграционных правах богачей. В Царствии Небесном, очевидно.

Больше всего на свете я сейчас хочу ее поцеловать, или хотя бы по щеке погладить, прикоснуться ласково к женщине, которую почему-то люблю больше жизни, но ее отсутствующая улыбка похожа на вежливое предложение убираться к черту, и я засыпаю. На сей раз – крепко и надолго.

26. Ашвины

Меня никто не будит, поэтому я сплю чуть ли не до вечера. Проснувшись, обнаруживаю, что в доме никого нет, а на полу возле дивана лежит записка: «Можешь сожрать, выпить и выкурить все, что найдешь в доме, но не смей пользоваться моей зубной щеткой. И дождись меня обязательно!!!!!!!!!!» – восклицательных знаков целых девять, по числу моих запасных жизней. Что ж, хорошая цифра. Убедительная.

Но я, собственно, и не собирался отсюда убежать. Мысль о том, что я могу больше никогда не увидеть Аду, казалась мне – не то чтобы невыносимой, но весьма нелепой. И потом у меня еще оставались вопросы. Столько вопросов! От ответов на половину из них в той или иной степени зависела моя жизнь; прочие же были продиктованы нормальным человеческим любопытством.

Поэтому я принял душ, заварил чай – больше мне, собственно, ничего не требовалось, и рад бы совершить дозволенный грабеж, да организм не велит – и чинно уселся с чашкой в той части студии, которая выполняла роль кухни. К слову сказать, ни телевизора, ни радиоприемника у Ады не было;

она не держала дома ни книг, ни газет. Ни единой строчки текста не удалось мне обнаружить в ее жилище – кроме разве что оставленной мне записки, но ее я уже прочитал. Чай пришлось пить в полном внутреннем молчании, и это немного действовало мне на нервы. Вспоминать вчерашний день было, мягко говоря, некомфортно; обдумывать свое ближайшее будущее – того хуже. А в настоящем не происходило ничего – кроме, конечно, чая. Да и тот быстро иссяк. Я уселся на подоконник и стал разглядывать облака. Этот процесс немного сродни чтению: такой же увлекательный, безопасный сон наяву, только сюжеты попроще...

На пороге сумерек в замке заскрежетал ключ. Ада вернулась. В первое мгновение, впрочем, я решил, что мое уединение нарушила какая-то посторонняя дама: сегодняшняя Ада не походила ни на давешнюю убийцу, ни на совооую амазонку, пришедшую той на смену, ни на счастливую девчонку в красном свитере, которая убаюкивала меня минувшей ночью. Сейчас в дом вошла эффектная деловая женщина: шикарный серый костюм в тонкую черную полоску, изящные туфельки на низком каблуке, волосы аккуратно причесаны, на носу – пижонские очки «для чтения», узкие полоски стекол без оправы, по таким сейчас все городские модники с ума сходили, даже те, кому коррекция зрения не требовалась.

– Так вот вы какие, северные олени, – лопочу ошарашенно.

Она улыбнулась одними губами, уселась напротив, испытующе заглянула в глаза. Вздохнула. «Давай, – говорит, – с вещами на выход».

Я был разочарован, но виду не подал. Признаться, что я надеялся остаться здесь надолго, было бы опрометчиво – раз уж от меня решили избавиться. Но она и так все поняла.

– Той Ады, которая тебя вчера сюда притащила, больше нет. И не будет, я надеюсь. Я теперь вместо нее. А рядом со мной тебе делать нечего – наяву, по крайней мере.

– Это метафора? – осторожно поинтересовался я, застегивая куртку.

– Это хренафора, – смеется.

Позже, в машине, она сказала:

– Меня не покидает ощущение, что вчера я спасла твою жизнь. Может быть, у тебя их действительно девять – да хоть четыреста! Но вещь все равно ценная, как думаешь?

27. Аэндорская волшебница

– Ценная, – говорю. Кто бы спорил!

– Ну вот. А взамен мне нужно вот что... Просить тебя молчать обо всем, что случилось, не буду: ты и без моей просьбы будешь молчать, тут я спокойна. И адрес мой ты вряд ли запомнил: я сама, когда сюда переехала, в первые дни по бумажке свой дом находила в этом лабиринте. Поэтому я попрошу тебя только об одном одолжении: не пытайся меня разыскать. Не нужно записывать номер моего автомобиля, не нужно наводить справки, не нужно шляться по этому району в надежде меня встретить. Ничего в таком роде, ладно? Считай, что я тебе просто приснилась. Это ни к чему не обязывает.

– Хорошо, – соглашаюсь. – Не буду. Если даже случайно на улице встречу, сделаю вид, что мы незнакомы.

– Это как раз глупо, – возразила Ада. Тон ее серьезен, глаза печальны. – Если ты когда-нибудь увидишь меня на улице, беги навстречу, ори, делай все, чтобы привлечь мое внимание. Потому что если мы когда-нибудь встретимся снова, это будем уже не совсем мы. И возможно, эти новые люди смогут провести вместе немного больше времени, чем кусочек ночи.

– Вот теперь я не понимаю ничего, – удрученно сознался я. – Если ты хочешь, чтобы я узнал тебя на улице, какого черта ты не диктуешь мне свой телефон или не записываешь мой? Что ты дурью маешься?

Я срываюсь на крик, потому что (я сам только теперь начинаю это понимать) расстаться с Адой для меня сейчас смерти подобно. Это не какая-нибудь дурацкая «любовь с первого взгляда», не сопливая собачья чушь для озабоченных юных прыщенок, просто рядом с нею мне ничего не страшно, а без нее... без нее я буду чувствовать себя как человек, болтающийся над пропастью в кабинке вышедшей из строя канатной дороги: вроде жив еще, но ясно уже, что это ненадолго. Потому и ору как идиот: слишком уж велика ставка.

– Тише. Ты меня отвлекаешь, а я за рулем. И, между прочим, собираюсь выезжать на шоссе, а там... а там, как всегда, пробка. Пока будем ползти, я тебе все объясню про «дурь», которой я, как тебе кажется, «маюсь». Ну, или не все, а только что-нибудь, как получится...

– Давай, объясняй, – мрачно требую я, когда ее «пятерка» медленно переползает с узкой боковой дорожки на четырехполосное шоссе и тут же обреченно замирает между несколькими желтыми «Икарусами», добродушными, грузными и неповоротливыми, как сытые коровы.

– Есть встречи, которые имеют значение, и есть встречи, которые значения не имеют, – мягко, даже немного нараспев, говорит Ада. – Встречи, которые имеют значение, случаются не просто так, от фонаря, а зачем-то. Событие, ради которого произошла наша встреча, уже случилось. Следовательно, наше дальнейшее общение будет, возможно, приятным, но бессмысленным. Хуже того, потакая желанию оставить все как есть, можно все испортить. Это – правило. Запомни его, пригодится еще.

Ужас состоит в том, что я каким-то образом знаю, что Ада права. О чем, собственно, она толкует – не понимаю, но нутром чую: так оно и есть. Это хуже всего: я-то ее переубедить намеревался. Выторговать хотя бы возможность позвонить, если совсем уж невоготу станет, если почувствую, что мою жизнь снова пора спасать. У Ады это отлично получается, хотя, казалось бы, не ее это специализация...

– А какое событие случилось? – спрашиваю. – Их вообще-то было немало.

Настроение у меня – хоть волком вой, но любопытство – страшная сила. По крайней мере, мое любопытство.

– По твоей милости я выяснила, что некоторые вещи, которые я считала собственным вымыслом, абсолютно реальны, – с энтузиазмом докладывает Ада, радуясь не то изложенному факту, не то возможности переключиться на вторую скорость: маршрутный автобус, за которым мы следуем, пополз немного резвее.

– Ты... сны имеешь в виду? – уточняю.

– В част-но-сти, – чеканит она. – Я была сегодня на этой твоей улице Маяковского. Странно: сколько лет в этом городе живу, а никогда раньше туда не сворачивала. Без надобности как-то было...

– И что? – спрашиваю, содрогаясь от предчувствия ответа.

– А то. Троллейбусных проводов там, конечно же, нет, как ты и говорил. Но одно рогатое чудовище мимо меня проползло. Не остановилось, правда. Очевидно, это сервис для избранных. Зато сразу стемнело... ну, не то чтобы совсем стемнело, а нечто вроде сумерек случилось – это сразу после полудня, каково?! И подворотни там интересные, на этой улице: куда только они не ведут... Я туда особо не совалась: знала, что из таких мест не всегда удастся вернуться к обеду, а мне тебя выпустить надо было... ну и еще кое-какие дела уладить, по мелочам. А подворотенки-то сладостные!.. Исследуй как-нибудь на досуге, если с духом соберешься.

– Щас, – саркастически усмехаюсь, – побежал уже... Да я теперь эту улицу за пятнадцать кварталов обходить буду!

– Вот! Это в тебе самое ужасное, – сочувственно вздыхает Ада.

– Что такого ужасного ты во мне обнаружила?

– А вот, смотри... нет, погоди, я закурить хочу, – она бесцеремонно достает из моего кармана пачку сигарет, берет одну, неумело, но с некоторым остервенением прикуривает, и я замечаю, что руки ее дрожат. – Мы с тобой оба были на этой улице, и оба натерпелись там страху. Только я теперь собираюсь отправиться туда еще раз, ночью. А ты, скорее всего, из города сбежишь, чтобы случайно в какое-нибудь чудо ногой спросонок не вляпаться. Сбежишь ведь?

– Не знаю еще. Может, и сбегу.

Про себя я в этот момент уже твердо знал: еще как сбегу! Как, куда, надолго ли – на сей счет у меня не было никаких планов. Но подальше от этого города, темная сторона которого, сотканная из чужих опасных фантазий, в последнее время повадилась предъявлять на меня права.

– Понимаешь, какое дело, – печально говорит Ада, – если бы ты не свалился мне на голову, я бы никогда не узнала, что каждому выпадает шанс наяву прогуляться по лабиринтам собственных снов. Ты словно бы дал мне ключ от двери, ведущей в лучшую из моих комнат. Комната-то моя собственная, а ключ от нее почему-то был у тебя. И знаешь что? Думается мне, ты просто создан для того, чтобы раздавать такие ключи посторонним людям. Выпускать птиц из клеток, распахивать заколоченные окна, взламывать потайные двери, и все в таком роде. Но ты никогда не сможешь сделать это для себя самого. Когда-нибудь ты так и умрешь, сжимая в руках связки чужих ключей... И это глупо, по-моему. Но так уж ты устроен.

– Это еще одно пророчество? – ядовито спрашиваю. – Развелось пророчиц на мою голову...

Я почему-то разозлился. Очень мне не понравилось все, что она говорила. Так не понравилось, что теперь я хотел выйти из ее машины прямо сейчас. Пусть катится, куда пожелает, пусть себе снует по подворотням улицы Маяковского, заодно и пару-тройку графоманов прирежет, их в тамошних кофейнях толпы тусуются... да и местным алкашам какое никакое, а развлечение... Дура сумасшедшая. Ненавижу.

– Ты меня сейчас ненавидишь, потому что знаешь: я сказала правду, – мягко говорит Ада. – Хочешь выйти здесь, выходи, я сейчас сверну в правый ряд... Только потом, когда перестанешь злиться, подумай вот о чем: возможно, я ошибаюсь, и когда-нибудь ты обнаружишь в связке свой собственный ключ и решишься им воспользоваться. Может статься, ты воспользуешься им мне назло – ну и замечательно! Спроси любого пророка: чего он хочет больше всего на свете? Чтобы его пророчества не сбывались – так-то! Вот и я надеюсь, что мое не сбудется.

Она наконец переползает поближе к тротуару, останавливается, и злость моя проходит. Ее сменяет печаль, потому что – вот и все. Я должен выходить, нам уже сигналият сзади, десятки измотанных вечерней толчеей автомобилистов требуют, чтобы мы не становились у них на пути.

Я смотрю на Аду и понимаю, что на прощание должен сказать ей что-то очень важное.

– Когда-то, – говорю, – очень давно, я писал плохие стихи. О любви и смерти, конечно же: о чем еще может писать стихи подросток? Они были... не то чтобы совсем уж плохие, но... неважные. А потом я вдруг запретил себе это делать: мне показалось, что множить число «неважных» стихов – мерзкое дело. Теперь я понимаю, что это был мой рыцарский подвиг в твою честь.

Она смеется, довольная, что нам удалось переломить ход беседы, пусть даже в самый последний момент.

– «Очень давно», – передразнивает. – Для тебя такая категория измерения времени пока не существует. Тебе же лет двадцать всего?

– Двадцать семь, – я почти возмущен. Думал, она меня своим ровесником считает, а тут – на тебе!

– Все равно, ты еще маленький. Для тебя все – недавно... А стихи можешь писать, если очень припечет. Но не больше одного в год, договорились?

– Договорились, – серьезно отвечаю я. И выхожу из машины.

Номера у нее, как я и подозревал с самого начала, заляпаны грязью: не разобрать ничего. Ну и ладно. Я вдруг понимаю, что вполне могу встретить Аду в одном из своих снов – раз уж она всерьез собралась наяву штурмовать Нижний Город. Как ни странно, нелепая эта мысль окрыляет меня, и я убегаю прочь счастливый, как ребенок, которого только что прокатили на автомобиле

добрая тетенька из соседней квартиры.

29. Аями

Далеко я, впрочем, не убежал, потому как почти сразу же наткнулся на Сашку Тормана, который, оказывается, шел ко мне с распростертыми объятиями.

– А я тебя второй день ищу, – говорит. – К телефону ты не подходишь, окна даже в половине третьего ночи темные были, соседи твои меня уже к бениной маме посылать устали, а ты тут, оказывается, с красивыми бабами по городу катаешься. Растешь, однако. Где ты такую нашел?

– Да никуда я не расту. Просто решил до центра на машине доехать, поднял руку, она и остановилась. Но я почти сразу тебя увидел и решил выйти.

Мне даже придумывать ничего не пришлось: лживая версия сама собой слетела с моих губ, и пока она проговаривалась, я сам почти поверил, будто так оно и было. А как же еще?

– Ну и поц: телки с тачками не каждый день с неба падают... Но вообще-то молодец: у меня к тебе дело на сто миллионов.

– Ну вот, – говорю гордо, – я и почувствовал, что надо выйти с тобой поздороваться.

А сам при этом обращаюсь в слух. «Дело на сто миллионов» – именно то, что нужно джентльмену, измученному всяческой непрактичной метафизикой, особенно если это дело затевает Торман. Сашка – фотограф, один из лучших в городе. Гений, трудяга, распиздяй, плейбой – гремучая смесь. Он мой учитель и работодатель заодно. Если я бываю порой способен вытворять чудеса со своим престарелым «Зенитом», да еще и деньги этими чудесами зарабатывать, все это – Сашкина заслуга.

Он подобрал меня десять лет назад. Не на помойке, а много хуже – в фотоателье, куда я носил на проявку свои любительские пленки. Торман же этим злачным местом в ту пору заведовал; его многочисленные бывшие жены и текущие любовницы были оформлены там на работу в качестве приемщиц, а Сашка за них отдувался, поскольку решительно не способен сказать женщине «нет» – по крайней мере, пока она сохраняет хотя бы жалкие остатки былой красоты. В момент нашего знакомства Торман был слегка навеселе, а потому общителен, нахрапист и убедителен. Достал из коробки с готовыми заказами мои пленки, отсмотрел их, одобрительно мыча, после чего смял и широким жестом выбросил в мусорную корзину. Я был в шоке, но мой будущий наставник безапелляционно завил, что я понес справедливое наказание, поскольку настоящий мужчина никогда не доверит проявлять свои пленки постороннему мудаку. За такую глупость, по его мнению, следовало убивать на месте, но меня Сашка все же решил пощадить. Сообщил снисходительно, что для любителя у меня очень хорошая постановка, а посему из меня следует делать человека, причем безотлагательно. Потому что к двадцати годам, согласно теории Тормана, ни одна обезьяна переделке уже не поддается.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Нарды – игра для двоих игроков на специальной доске с использованием шашек и игральные кости.

Правила игры в Backgammon («короткие нарды») гласят, что у каждого игрока имеется по 15 шашек.

Задача белых – провести свои шашки в дом белых.

Задача черных – провести свои шашки в дом черных.

Начинают белые, бросая две кости. Количество выпавших очков показывает, на сколько вперед надо продвинуть шашки. Например, на кубиках 3, 4 – можно продвинуть две шашки (одну на 3, другую на 4) или одну (на 7).

Если на обоих кубиках выпадет одинаковое число очков, то показания удваиваются (например, выпало 4, 4 – игрок может распоряжаться любым сочетанием 4, 4, 4, 4).

В процессе игры на одном поле можно держать сколько угодно своих шашек. Поле, где содержится две и более шашек противника – заперто, на такие поля вход чужим шашкам запрещен.

На поле, занятое одной шашкой противника, входить можно, причем шашка противника считается битой и убирается с доски за борт.

Битая шашка должна начать путь сначала. Игрок, имеющий за бортом шашки, не может сделать никакого другого хода, пока не выставит их на доску.

Шашки с борта ставятся согласно показанию костей. Бить при этом шашку противника можно, но не обязательно. На поле, занятое двумя и более шашками противника, битые шашки не ставятся, а ход пропускается – цугцванг.

Как только игроку удастся привести шашки в свой дом, он начинает ставить их за борт («на двор») – снимать с доски, кидая кости. В процессе выставления шашек «на двор» игрок может использовать показания кубиков – одну шашку выставить за борт, а другой просто ходить. Каждый бросок выполняется полностью (например, если выпало 5, нельзя ходить на 4). Если игрок не может выполнить ход, то он либо пропускает ход, либо выполняет ход по одному кубику.

Игрок, первым выставивший шашки за борт, получает одно очко. Если к этому времени соперник не выставил «на двор» ни одной шашки, победитель получает 2 очка; если в доме победителя остались шашки противника – 3 очка; если же

у соперника все еще есть шашки за бортом – 4 очка.

А игроки в длинные нарды в начале игры выстраивают свои шашки на одном поле; бить шашки противника в этой игре нельзя, на поле, занятое одной чужой шашкой, попросту не вступают. В остальном все так же: цель – вернуться домой раньше, чем это сделает ваш оппонент.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/maks-fray/enciklopediya-mifov-a-k>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)